

СВЯТОСЛАВ
ЛОГИНОВ

РУССКАЯ
ФАНТАСТИКА

РОССИЯ ЗА ОБЛАКОМ



Святослав Логинов

Россия за облаком

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=165338
Россия за облаком: Эксмо; Москва; 2007
ISBN 978-5-699-23159-1*

Аннотация

60-е годы XIX века. Отмена крепостного права не принесла счастья семье Савостиных. Казалось, что эта зима для них последняя. Но появился странный человек Горислав Борисович, который указал путь к спасению. В волшебную страну крестьянской мечты. В Россию времен Бориса Ельцина!

Оказывается, любовь к парному молоку может пробить тоннель сквозь время, алкоголь не только вреден для здоровья, но и спасает жизнь в безвыходной ситуации, а российский беспредел 90-х годов XX века кому-то может показаться земным раем...

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	20
Глава 3	33
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Святослав Логинов

Россия за облаком

Глава 1

У Шапошниковых гуляли.

Визгливо разливалась гармошка, с коленцами и звяканьем брекотушек. Гармонисты у Шапошниковых всегда были знатные; если бы ещё работать умели, как песни орать – сметы бы мужикам не было. А так, радость – они веселятся, гадость – опять веселятся. Беда – у них смехи, страда – потехи. Потому и не вылазят из нищеты.

В проулке у шапошниковского дома пьяно голосили:

Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!
Без штанов-портов по улице бежит.
Он бежит-бежит попёрдывает,
За яйцо себя подёргивает!

И не подумаешь, что в семье горе.

Вчера Шапошниковы схоронили Алёну. Одна была работящая в семье, и ту господь прибрал. Теперь Шапошниковым одноконечный край пришёл, вот и гуляют второй день кряду. Сами и говорят: первый день на поминанье, второй – на погулянье. И где только вино берут? Люди кругом с голоду мрут, хлеба ни у кого нет, а винище – пожалуйста! – пей не хочу. Вот Шапошниковы и пьют.

А у Савостиных в доме тишина. Молча горюют, ни поминанья не было, ни погулянья. Мать наварила картошек, по две штуки на нос, и щепоть серой соли в солонице – вот и все поминки. Митроха-то любил картошку в стуколку, да чтобы с конопляным соком и толчёным чесноком. Нет ни сока, ни чеснока, ни Митрохи. Отмучился малец.

Феоктиста выставила на стол чугунок с варёной картошкой. Горячий пар подымался над чёрным зевом. Микита, уже давно сидевший при своём месте, громко сглотнул. Пар хоть и постный, а с голодухи дразнящий. Шурка, сидевшая напротив, невольно передразнила брата, тоже судорожно глотнувши. Бывает такое: один зевнёт, и все остальные принимают рты крестить. А тут, на пустой живот, как слюнку не сглотнуть?..

Платон Савостин сел за стол последним, на широкое хозяйское место. Место широкое, да стол узок. Пустая миска, из которой в прежние времена всей семьёй хлебали щи, праздные ложки лежат по краям – сегодня хлебать нечего. Стоят солоница да чугунок. Доска для хлеба тоже пуста, последний раз пекли батюшку две недели назад. Ныне у Савостиных едомый хлеб кончился, только на семена, да и то в обрез. И картошка вся вышла, семенную едят. Дожить бы до первой травы, до крапивы и луговой кислицы. Фектя щей наварит зелёных... детишки на понос изойдут, а всё живы будут... Микита и Шурка... а Митрошеньку господь прибрал, сегодня похоронили.

В сытые времена, когда садились вечерять, мать вываливала картошку из чугуна в миску, и каждый брал по своему хотению. А нынче картошка счётная, торопись – не торопись, а больше соседа нехватишь. Две картошины хозяину, по две детям, две себе.

В движениях жены Платон заметил что-то суетливое. Приподнялся, проверяя. Так и есть, на дне чугуна оставалось ещё две картошины. Небольшеньких, какие с осени откладывались на семена. Рука сама потянулась к ложке. Феоктиста сжалась, ожидая звонкого удара по лбу. Обычно так малых учат, если вздумают баловать за столом, а тут – хозяйку...

– Просчиталась, – виновато прошептала она. – Как обычно сметила, и на Митрошеньку тоже сварила. Пускай уж ребятишки его долю съедят.

Платон медленно выдохнул, опустил ложку. Не ожегшись, достал из чугуна две горячие картошины. Ту, что чуток побольше, положил перед собой, другую перед Фектей.

– Нам работать, а малым на печке сидеть. Поди, и так не оголодают. А тебе урок на будущее, чтобы ты и завтра не просчиталась.

Сел, взял первую из картошин, слегка сжал в кулаке, чтобы треснула тонкая шкурка. Двумя перстами взял соли, присолил аккуратно, крупинки не уронив. Осторожно куснул, медленно начал жевать. Вся семья в полном молчании повторяла движения хозяина. Ели с шелухой, не то время, чтобы картошку облупливать да шелуху бросать. И так съестся, мужицкое горло, что суконное бёрдо, всё мнёт.

В дверь постучали.

– Кто там крещёный? – громко спросил Платон.

Не вовремя принесло гостя, как есть не вовремя.

– Пустите переночевать! – донеслось снаружи.

– Иди дальше, родимый, у нас голод, сами помираем.

– Я хлеб дам, мне бы только переночевать где...

В дни весенней бескормицы эти слова открывают любую дверь.

Гость оказался одет по-городскому в кафтан толстого сукна с меховым воротом; кучерская шляпа с широкими полями могла спасти хозяина от ноябрьских дождей, но никак не от морозов, которые ещё случались под утро. А на ногах и вовсе красовались штиблеты, в каких только мостовую гранить вдоль модных магазинов. По весенней распутице ивовый лапоть и то надёжнее. И всё же гость пришёл пешком, и штиблеты на удивление ещё сохраняли вид.

«Должно, приказчик выгнанный, – попытался определить Платон, – или чиновник мелкого разбора».

Не был странник похож ни на приказчика, ни на чиновника. Не выгнанный должен по своим надобностям на лошадях добираться. А выгнанный – значит, спился или проворовался, а у таких судьба на лице прописана. Но главное – штиблеты: низенькие, барские и до сих пор почти чистые. Ну как сюда могло человека в штиблетах занести?

Из вещей у путника оказалась только покупная котомка с ремнями на пряжках. Оттуда и появился обещанный хлеб: не краюха, а целиковый. Хлеб тоже был странный, не каравай, а что-то угловатое, словно сырмятная кирпичина. У попадьи, сказывали, черепашка специальная есть, куличи печь, так из неё кулич тоже угловатый выходит. Барские затеи – даже хлеб не по-людски пекут.

Но какой ни есть, это был хлеб, а к нему гость добавил полуфунтовый кружок колбасы в промасленной бумаге и пять кусков пилёного сахара. Феоктиста спешно выставила на стол глиняные чашки и корчагу с горячей водой. Самовара у Савостиных не водилось, по всем окрестным деревням ни у кого из хрестьян самовара не было, только у попа в Ефимкове, а кишочки горячим пополоскают всем охота, вот и обходились по-простому.

– Извиняйте, чаю у нас не осталось, – тихо произнесла хозяйка, ставя перед гостем дымящуюся чашку. – Прежде зверобой заваривали, да и тот поприелся.

– Часом с квасом, а порой и с водой, – согласился путник.

Хлеб и колбасу он нарезал тонковато, но вроде как не по одному куску. От предложенной картошки не отказался (вот и пригодились две Митрохины картошины!), чашку с кипятком обхватил двумя руками, как делают озьявшие люди, с шумом отхлебнул.

– Вы сами-то ешьте, – сказал он, видя, что хозяева сидят в нерешительности. На кусок хлеба положил колбасу, разом четыре косо срезанных ломтика, но не сам стал есть, а протянул Шурёнке: – На вот.

Шурка несмело протянула руку.

– Ляксандра! – предупредила мать, и кусок остался нетронутым.

Платон, видя, что сытый гость стесняется брать хлеб первым, сам взял кусок хлеба и один ломтик колбасы. Следом потянулись и остальные. Ломоть с четырьмя колбасинками остался нетронутым.

Микита сразу засунул лакомый кусочек в рот, мигом сжевал, а потом уже ел пустой хлеб, который, впрочем, голодному человеку вкусней всяких наедок. Шурка сберегала мясное напоследок, только время от времени вдыхала колбасный дух. За ней и прежде такое водилось – оставлять вкусненькое на заглотку, так что Микита, бывало, дразнил её, показывая, как хохол сало ист: «Я до тебе доберусь!»

– Издалека будете? – начал вежливую беседу Платон.

– Да уж, изрядно, – ответил гость. Он помолчал и, отхлебнув пустого кипятку, спросил: – А у вас что за беда такая? Смерч, что ли, прошёл? Ни на одном доме крыши целой нет.

– Весна... – неохотно ответил Платон. – Бескормица подошла, всю солому с крыш скоту стравили. Вот и стоят дома раскрытыми. И не дело стены гноить, а скотина падёт – совсем сгинем.

– Сена-то что ж не накосили?

– А уголья где брать? – Платон едва не рассердился на глупый вопрос. Но потом снизошёл к городскому недомыслию и начал объяснять: – Сам посуди, мил человек, луга заливные – чьи? Княжеские луга. Сено с них управляющий в город возит, за деньги продаёт. Лес чей? Опять же, княжеский. Ни тебе дровишек привести, ни по полянкам травы накосить. У князя холуёв полон двор, все смотрят, чтобы мужику жизни не было. А у мира угодьев – кот наплакал. Ни земли, ни травы, ни леса. Даже к речке с бреднем – и то не моги. Куда ни глянь, всюду одноконечная гибель обступила.

– А прежде как обходились?

– Прежде и мы княжеские были, а теперь – временнообязанные. Ты на него работай, а он тебя кормить – ни-ни! Вот ты человек, по всему видать, учёный, и грамоте, и всяко. Опять же, городской, там всё прежде нас знают. Так ты скажи, скоро ли волю обратно отменят?

– Тебе что, не нравится свободным быть?

– А кому она нравится, эта свобода? Прежде мужик состареет, так если своих детей нет, барин его кормит. Не жирно, а всё с голоду недохнешь. Опять же, если голод... хоть понемножку, хоть чёрствой корочкой, а облагодетельствует. Потом, конечно, эту корочку сторичей отработаешь, но покуда – жив будешь. А теперь у нас свобода: хошь с голодухи подыхай, хошь – в петлю лезь. Свобода она для тех, кто прежде в барских холуях ходил, руки при хозяйском добре нагрел, мощну набил. Им теперь самая воля. А я не воровал, откуль у меня богатство?

Прохожий усмехнулся чуть заметно, но от Платонова взгляда ничто не укрылось.

– По-твоему, я не так чего сказал?

– Всё так, просто такие речи мне очень знакомы.

– Ещё бы не знакомы, поди, по всей Руси о том народ толкует.

– Я вот думаю, ежели так худо, зачем вы на месте сидите? Земля большая, нашли бы место по душе, переселились бы, хозяйство завели справное. Прежде вас на земле силой держали, а теперь – воля. У свободы, как у палки, два конца. Ты говоришь – свобода на месте сиднем сидеть да с голоду помирать, а есть другая свобода – искать себе лучшей доли.

– Где родился, там и пригодился, – тихо встала Феоктиста.

– Нам тоже эти рассказы отлично хорошо знакомы, – не обращая внимания на жену, произнёс Платон. – Летось приходил один, как и ты, звал за собой. Есть, говорил, на свете страна Беловодье, правит там христианский царь Иван Пресвитер. И как туда русский хрестьянин приедет, так ему сразу земли нарежут, угодьев всяких: леса целую ухожу, лугов

заливных добрый покос. Рыбные да звериные ловы там опять же вольные – всё для хрестьянской души. Знай не ленись, да богу молись.

– Сказки... – вздохнул прохожий.

– Вот и я смеаю: у них там своих мужиков, что ли, нет? Мужика везде лишек, бабы на этот счёт шустрые. У бедняка только на детей богатство. Меня в деревне, знаешь, как дразнят? Мол, у Платона пять дочек, да все на «л»: Ляксандра, Лямпиада, Лизавета, Ленка и Левтина. И пять сынов, да все на «м»: Митрий, Микита, Миколай, Микифор и Микодим... – договаривал Платон через силу, придушенный внезапной мыслью о Митрохе, с которым уже не свидишься, одно имечко в поминальнике осталось, вписанное заботливым кладбищенским сторожем.

Гость не знал о беде, но беспокойство ощутил.

– Вы кушайте, кушайте, – сказал он, придвигая к хозяину початый хлеб. – Это всё ваше, у меня в дорогу взято, мне хватит.

– Благодарствую, – Платон склонил голову. – Я уж тогда приберу его, чтобы и на завтра хватило. В сытое брюхо хлеб пихать – напрасно добро травить.

Странник кивнул согласно и, возвращая разговор в прежнее русло, сказал:

– А вы бы всё-таки подумали насчёт переезда.

– В царство Ивана Пресвитера? – спросил Платон так, что почудилось, будто он о том свете спрашивает.

– Не... Царство Иоанна Пресвитера, если не ошибаюсь, Абиссиния. Это в Африке. Там сушь да жара, хлеб не родится. Живут там куда беднее нашего. Народ, конечно, крещёный, но все из себя чёрные арапы. Ты про арапов-то слыхал?

– Как не слыхать? У старого князя арапчонок был Ахметка. Чёрный, как дёгтем намазанный. А уж девок портить мастак! Они к нему липли, словно он в меду, а не в дегтю изгваздался. Одно слово – дьявол. Мужики его порешили за это. Поймали и вилами прокололи. Говорили, что раз он чёрт, то ему ничего с этого не станет, а от нас он уберётся.

– И что?

– Не чёрт оказался. Его проткнули, а он возьми да и помри. Четверо парней за него, антихриста, на каторгу ушли.

– Вот я о том и говорю, что арапы такие же люди, но русскому человеку у них делать нечего.

– Куда ж ты меня в таком разе зовёшь?

– Есть, понимаешь, такая страна, – усмехнулся гость. – Россией зовётся. И там, если поискать как следует, что угодно отыщется, даже твоё Беловодье.

Гость дохлебал воду, вежливо перевернул чашку вверх дном. Фектя накрыла хлеб и колбасу полотенцем, а поверх миской – от мышей, унесла прятать в холодный щепной короб. Мужчины поднялись, вышли до ветру. Ещё не стемнело, весной вообще поздно темнеет, но уже заметно подморозило. Не скоро дожждаться первой травы.

В проулке у Шапошниковых продолжалось погуляние. Галдели голоса, шалава Маруська с привизгами орала охальные частушки:

Ты со мной гулять не хочи-ишь!

Я от этого не прочь.

Ты всю ночь всухую драчи-ишь!

И скучаю я всю ночь!

Платон плюнул в навозную кучу, не то отхаркнулся, не то презрение выказал непутёвым соседям.

– Вон тебе переселенцы готовые, им и собираться не надо, только и есть добра, что в портках. Их чекушкой помани, до самого Беловодья добегут.

– Таких нам не надо. Этого добра всюду, что грязи.

– Ага, – согласился Платон, задвигая деревянный засов на сенной двери. – Никому их не нужно, а талант им прёт, что купленный. Тоголетось землю делили, так добрым людям, как ни кинь – всё клин, а этим – полоса, да в самом центре поля. Так им и то не впрок. Потапов Савва, мироед, им три ведра вина поставил, чтобы они ему свой жеребий отдали. То-то попито было...

В избе оказалось уже темновато, семья готовилась ко сну. Фектя с детьми стояла перед иконами, отбивая вдвое больше поклонов, чем обычно.

– ...и за Митрошеньку нашего...

– Мам, – позвала Шурка, подымаясь с колен, – а Митрошка сейчас в раю?

– Где ж ему ещё быть? Смотрит на нас с неба.

– Он же баловник был. Кто его в рай пустит? Наверное, его черти в ад утащили.

– Тьфу на тебя! Скажешь тоже – в ад! Простил его господь. Пострадал, конечно, маленько, может, даже розгой постегал за баловство, а потом простил.

– Будет вам балаболить, чего не знаете! – сердито сказал Платон.

Гостью Феокиста постелила в горнице на полатах, себе и мужу – на печке. В горнице была ещё широкая лавка, на которой тоже можно спать, но сейчас там были расставлены кросна с натянутой основой, так что убирать не с руки. Шурке постелено в стряпущем углу на кáрзине, а Микитке за печкой на шестке. Ничего, перебьются, одну-то ночь. В большой избе-пятистенке печь посреди дома стоит, выглядывая в чистую горницу зеркалом, от которого идёт тепло. А в простой избушке, где у хозяйки один только стряпущий угол, печь сдвинута к стене, но не вплотную, а отступя на полтора кирпича, чтобы пожара не наделать и зря улицу не отапливать. В этом простеночке с обратной стороны выкладывают второй шесток, где в случае нужды может спать кто-то из малолеток, старушка-приживалка или иное убогое существо. За печкой всегда тепло, а что тесновато, так недаром сказано: в тесноте, да не в обиде. А ещё сказано, чтобы всяк сверчок знал свой шесток. Настоящий-то мужик за печку не втиснется, там спят только те, у кого голоса в семье нет.

Микита раком выполз из запечной щели, пошлёпал босыми ногами к выходу.

– Куда? – спросил Платон.

– Во двор.

– Я те дам! Сперва помолился, а потом поганые дела делать? Сколько тебя учить – сначала поссы, а потом молись!

Но Микита уже был на улице и отцовской выволочки не слышал.

Платон шагнул в красный угол, наскоро перекрестил лоб, пробормотал: «Буди мне, грешному!» – словно не молитву читал, а богу выговаривал за все беды и неурядицы.

– Митрошеньку-то помяни, – напомнила мать.

– Я за него живого лоб намозолил, а что толку? А уж мёртвый он как-нибудь сам пристроится, без грешных молитв. И вообще, у меня за Митроху на бога большая обида, так что и молитва на ум нейдёт.

– Ой, не грехи, Паля! Прямо перед образами такие речи говорить!.. Боженька-то всё слышит, вишь, так и зыркает на тебя.

– Вот и пусть послушает! Чего тому богу молиться, который не милует? Погоди, посмотрим ещё, как жеребья лягут, когда землю делить начнём. Так я, может, и вовсе эти образа в хлев выставлю. Будет тогда на скотину зыркать.

Потом Платон вспомнил, что в доме посторонний, и прекратил бузу. Повернулся к гостю, сидящему на краю полатей, запоздало спросил:

– Зовут-то тебя как?

– Горислав Борисович.

Ишь, как важно! Был бы ты Борисовичем, так не просился по мужицким избам на ночлег. А имечко не простое... Из скуфейников, что ли, гость? Хотя святцы листал, а Горислава не видал. Такое имя сказочному царевичу подходяще, а не скуфейнику. Царь Борис в сказках часто бывает, а сынок у него Горислав Борисович, получается. Может, и вправду гость из Беловодья пришёл?

Ничего не придумал и сказал просто:

– А меня Платоном кличут.

– Очень приятно, – согласился Горислав Борисович и пробормотал как бы самому себе: «Что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать»...

Опять непонятно. Ежели странник из заветного царства, откуда у него барская прибаутка, которую Платон не раз слышал от казённых путешественников, когда в свою очередь дежурил на подставе. Там каждый второй проезжающий, услышав, что везёт его Платон, немедля вспоминал быстрого Невтона. Платон уже и гадать бросил, что сие означает и какой Невтон к нему в свойственники напрашивается.

Потеснив кросна, присел на лавку, попросил, избегая называть гостя по имени:

– Рассказал бы ты нам, что за страна такая – Беловодье. А то сманиваешь, а как там люди живут, не говоришь.

– Страна как страна, люди живут, русские, хотя инородцев тоже довольно. Но русских больше. Молочных рек нету, кисельных берегов тоже не обещаю, но люди живут лучше, чем здесь; всяко дело – сытнее. И всё бы хорошо, да избаловался народ. Казалось бы, земля вольная, налоги лёгкие, повинностей – кот наплакал... живи – не хочу. А и в самом деле, выходит – «не хочу».

– Так и будет, – покивал Платон. – От легкости завсегда баловство происходит. А ты, значаца, меня к себе в мужики хочешь записать... Я-то гадал, кто ты таков, с виду не мужик и не барин, от одних отстал, к другим не пристал. А ты – тот барин, что без мужицкой помёги живёт. Теперь ты мне понятный. У нас о таких токо сказки рассказывают, а ныне своими глазами поглядел. Но во мне ты, баринок, просчитался, я к тебе в работу не пойду.

– И правильно, – ничуть не смутившись, ответил Горислав Борисович. – У нас кто взаправду хочет работать, тот землю берёт и на себя работает. А на чужого дядю – зачем? На других батрачит только пьянь беспробудная: не за деньги, а за бутылку.

– И зачем тогда мы тебе?

– За так. Тут вы бьётесь как рыба об лёд, да всё без толку, а там людьми бы зажили. Хозяйство бы завели, этому не чета. Корову, а то и две...

– Кормов где на две коровы взять? Мерины и то прокормить не можем, всю солому с крыши стравили.

– Я же говорю, угодня у нас вольные. Столько травы пропадает – больно смотреть. И налог на землю малый, а подушного и вовсе нет. Школа, опять же, для детишек бесплатная. Вот ты сам-то грамотный?

– Грамотный-то грамотный, а толку? Чуть кого в понятия хватать – сразу Платона, он, мол, грамоте знает!.. Тьфу, лучше бы её и не было!

– Не грехи, грамота – дело полезное.

– Полезно, что в рот полезло. А из грамоты твоей щей не сваришь. Ещё чего у вас хорошего на мужицкий горб напасено?

– Зря ты так говоришь. Кому это нужно – мужика обижать, да и зачем?

– Вот и я спрашиваю, зачем? Чиновник по государевым делам едет, а гужевую повинность мужик несёт. Дороги летом чинить, а зимой от снега чистить – мужика сгоняют. Солдатики на манёвры идут, а подводная повинность опять на мужике. Богатый от этой маеты

откупится, а бедный в натуре за всё отвечает. Придумки государевы, а лошадки да руки – мужицкие.

– У нас такого нет. Дороги чинят от казны, на большие расстояния народ по железной дороге добирается, что чиновник, что простой человек, всё едино. По трактам тоже казённый транспорт ходит. А железных дорог у нас много.

– Чугунка, что ли? Тоже страх господень, не приведи увидать...

– А я бы поехал на чугунке! – подал голос из-за печки Микита.

– Цыц, пострелёнок! Вот вырастешь, забреют тебе лоб, и поедешь на чугунке прямо на войну. А там тебе турка бритую башку саблей снимет.

– С этим у нас тоже легче, – ввернул Горислав Борисович. – Вот вы сколько лет служите?

– Этого я тебе, добрый человек, не скажу.

– Тайна, что ли?

– Тайны нет, просто сам не знаю. Говорят, какое-то послабление солдатикам то ли вышло, то ли ожидается. В прежние времена, до Крымской кампании, всё просто было: в солдатчину, что на смерть, родным уж не дожидаться. Двадцать пять лет не шутка, родители померли, жена по рукам пошла, одно слово – солдатка. Так отставной в деревню и вертаться не будет. Получит надел подальше от родных мест да запишется в вольные хлебопашцы. А то – в мещане, если денежка какая-никакая скоплена. Попы отставных солдат даже не венчают, у него, поди, в каждом городе, где на зимних квартирах стояли, сударушка есть. А солдату и невенчану хорошо. Найдёт себе вдовушку, с ней и живёт. С солдата господь не спрашивает, солдатский грех весь на начальстве. А теперь, говорят, служба будет не такая долгая, лет, может, десять, но зато потом в запасе быть до самой смерти. Тока служивый к месту пригреется, жизнь какую ни есть наладит, а тут – война! Значит, всё бросай и пожалте умирать. А оно тому, кто солдатчину уже отбыл, куда как больнее.

– Это если большая война. Так она редко случается.

– Не скажи... Француза в двенадцатом годе кажется живьём в землю урыли, так битому неймётся, вот они нам и задали таску в Крымскую кампанию. Опять же, то турка бунтует, то поляк. Поляк, он забавник, на штыке висит, а ногой дрызгает...

– Откуда у тебя ужасы такие?

– Так ведь мы тоже не в лесу живём. Солдатики отставные и к нам заходят, рассказывают. Хуже, мол, нет польского семени, пока весь их поганый род не изведёшь, будут бунтовать.

Гость покачал головой в сомнении, но не поперечил, вернул разговор в свою сторону.

– Всё-таки у нас живётся проще. Мир тебе не указ, казне заплатил, что положено, и ты – вольный человек. А такого, чтобы крыши по весне разбирать, у нас не водится. Я и вовсе соломенных крыш в наших краях не видал.

– Дранью, что ли, кроют? – спросил Платон.

– Кроют, хотя не только дранкой, но и железом, и по-всякому...

– Дранью, конечно, основательней, – согласился Платон, – но соломой – спорей. Опять же, если бескормица...

– Да говорят же, не бывает у нас бескормицы. Народу мало, а травы такое раздолье, что страсть берёт. Уж на корову-то всегда накопишь.

– Твоими бы устами да мёд пить... Вот чую я, чего-то ты не договариваешь. Ежели у вас так сладко, то почему народ пьёт?

– Избаловался, – жёстко ответил Горислав Борисович. – Ты думаешь, люди только с горя пьют? Вон, соседи ваши, ор через забор валит, а какое у них горе, скажи на милость?

– Алёна у них померла третьего дня, – пояснила Фектя. – Хорошая была девка, царство ей небесное. На лицо, правда, не задалась, воспой её пощедрило, а так справная была. Из-за этой щедрovitости замуж её никто не взял, до самой смерти в девках просидела.

– Ты ври, да не завирайся, – в который уже раз осадил жену Платон. – Подумаешь, воспа! У других харя ещё страшней, а замуж выходят. А у Шапошниковых кто девку возьмёт? Порченный народишко, молва о них по всей волости. Оно и по имени видно. Были бы они Шапошниковы – люди бы ихний корень видели; хоть в прежние времена, но были в роду мастера, шапки валяли. Были бы Сапожниковы – тоже понятно. А так, не пойми что, божья оплошка. Опять же, приданое у Алёны какое? Она бы и наткала, и напярла, так ведь какую малость ни сделает, Федос всё из укладки вытащит и в кабак снесёт. У родной дочери воровал! Другой бы людям в глаза смотреть не мог, а этот знай похохатывает. И сейчас они не с горя пьют, а Алёнину укладку пропивают.

– Вот и у нас таких много, – подытожил Горислав Борисович. – Поэтому переселенцев пускают только непьющих. Ежели добрая семья едет, вроде вас, то её пропускают, и устроиться помогут, и всё, что надо... А которые забулдыги – тех нам не надо, езжай дальше.

– А как узнать? С виду он таким разумником глядит, что хоть в исправники ставь, а внутри не человек, а пена пивная. Вот только в душу не заглянешь, чужая душа потёмки.

– Душа делами высвечивается. Оно видно, кто на земле работает, а кто на ней сиднем сидит да на соседскую жизнь завидует. Вот таких гостей нам не надо, и без того не знаешь, куда от такого люда деваться.

– Во! – подтвердил Платон. – А сам говорил, что у вас миру власти не дадено. Нет уж, мужик от мира – никуда.

– Это не мир решает.

– А если начальство, то ещё хуже. У мира какая-никакая совесть есть, а у начальства её и в заводе не бывало. Только и будет кровь тянуть: или плати, или мы тебя отсюда в три шеи погоним.

– И не начальство тоже. Оно так само получается, вроде как чудесным образом. Которые тамошние, им ничего не будет, хоть до смерти упейся, а приедем – нельзя. Выкинет, что гнилой обабок из корзины: иди, мол, к себе, там и пей.

– Да-а... – протянул Платон. – А ещё расскажи, что добираться туда нужно тайной тропой, по облаку, а на пути громовник сидит, и того, кто на спрос не так ответит, по самые ноздри в землю вбивает. Эх, жаль Шурёнка, уже уснула, она любит такие сказки слушать.

– А ты не смейся, – тихо сказал Горислав Борисович. – Давай хоть завтра вдвоём сходим на час да поглядим, какова дорога. До самого конца не дойдёшь – далеко, а на дорогу поглядишь. Тогда и поймёшь, где я соврал, а где правду сказал.

– Слушай, – догадливо воскликнул Платон. – А может, ты раскольник? Скопцы, говорят, так вот людей сманивают в свою веру. Только я на это не согласный. Может, я и плохо тут о боге говорил, а всё одно это мой бог, и вашего мне не надо.

– Так ведь я сказал уже: и православные живут, и иноверцы, всяк в какого бога хочет, в того и верует.

– Говорить-то ты говоришь, а каково там на самом деле? С виду яблочко наливное, а не оскомное ли? Пока не откусишь – не спознаешь.

– Я ж тебе предлагал: сходим да посмотрим...

– Туда сходим, а обратно как? Старухи болтают, будто бы смертынька также по деревьям ходит, уговаривает: пошли, мужичок, поглядим, каково на том свете сладко живётся. Сходить-то с ней можно, и путь недалёкий, навроде как ты обещался, тока назад не пускают.

– Вот уж на смерть я ничуть не похож! – гость усмехнулся. – И телом не вышел, и делом. С косой тоже управляться не умею.

– С косой только Мара ходит, которая народ, что траву косит, а смертынька и так придушит, без косы, – раздался из стряпущего угла Шуркин голосок.

Значит, и девчонка не спит, слушает соблазнительные разговоры прохожего человека.

– Ой, по кому-то вожжи плачут! – предупредил Платон.

Шурка была отцова любимица, всерьёз строжить девку Платон не мог, хотя вожжи поминал частенько.

– В самом деле... – спохватился гость, – детям давно пора спать, а я тут болтаю. Бог с ним, Беловодьем, да с красивой жизнью. Назад пойду, приведёт у вас остановиться – договорим. А мне с утра в город надо. Я вот думаю, можно у вас кого подрядить до города доехать?

– Подрядить-то можно, были бы денежки.

– Ну а ты за сколько взялся бы довезти?

– Это дело непростое... – задумчиво протянул Платон. – Нонеча самая распутица – ни в саях, ни на телеге. Опять же, лошадь некормная, сvezёт ли?

– Так сколько?

– Четвертак! – выпалил Платон и сам испугался своей наглости.

Путник, к его удивлению, не возмутился, а словно бы считать принялся про себя, только что пальцев не загибал.

– А сколько вёрст до города? – спросил он давно ожидаемое.

– Вёрст тридцать пять будет, – объявил Платон и, решив, что врать следует до конца, добавил: – С гаком.

– А гаку сколько?

– Так кто ж его считал? – рассудительно ответил Платон. – У нас вёрсты немеряные.

– За двугривенный, – предложил Горислав Борисович.

– Эх, что с тобой делать... – протянул Платон, не смея верить удаче. – Свезу и за двугривенный, за хлеб за твой. Тока тогда давай спать, а то завтра раненько выезжать нужно, пока с утра приморожено. Ино завязнем в грязи, ни четвертак не поможет, ни рупь целковый.

Ни из-за печки, ни с кáрзины, ни даже с печи не доносилось ни единого звука: никто не спал, но все понимали – идёт денежный разговор, в который соваться нельзя. И невелики деньги: двадцать копеек, а ко благовремени и они выручат.

В доме быстро воцарилась тишина, покуда не нарушаемая храпом, лишь сквозь стену из соседнего проулка доносились звуки шапо́шниковского погуляния:

Как хотела меня мать
Да за пятого отдать!
А тот пятый, пьяница проклятый —
Ой, не отдай меня, мать!

* * *

Передел земли – штука непростая, часто его делать не станешь. Оно и богатеям тяжело, и бедноте. Только начнёшь навоз на поле раскидывать, а тут – передел, и земля твоя вместе с твоим золотом отошла к другому. Опять же, у одного земля сиздавна нахлеблена, а у другого всей скотины – таракане на аркане, так он землю посуху ворошит, отчего она неплодна. Такому бездельнику передел в радость, хуже чем есть, всё равно не будет.

Мужику основательному, чей голос на миру веско звучит, казалось бы, от передела одна морока, но и тут чёрт под ноги хвост постелил. Наделы даются семье по числу душ мужеска пола. Народится у кого парнишечка, тот сразу начинает кричать, что передел пора устраивать. Хорошо, если в соседней семье старик или младенец преставится, тогда мир

такие дела без передела решает: одному горе вдвойне, другому вдвойне счастье. А как вдуматься: что же это за счастье – на чужой беде? Недаром говорят: в миру жить, в грехах ходить. И жаль соседа, но коли у него сынок помер, а у тебя родился, то земля должна быть переделена. Тут мир жалости не знает, в миру, что на юру – жить холодно.

Закон велит переделы земли совершать не реже, чем раз в двенадцать лет, а чаще... да хоть каждый год. И хотя сразу после объявления воли урезанная мирская земля была поделена, но холера и весенний недокорм прошлись по самым бедным семьям, так что веский голос богатеев постановил: быть переделу. Оно и понятно: кулацкие детки с голодухи не мрут, вот и нужно, пока народишку поменьше, землю переверстать. А что навоз уже на полях, то тому, у кого две лошади да корова, – навозу не занимать.

Платон злился, ругал всех и вся чёрными словами, но весь мир переорать не мог. Когда Савва Потапов с горластыми Шапошниковыми в одну дуду дуют, Савостин голос не звучит.

Жеребья метать собрались прямо на поле. Тут же был приглашённый уездный землемер, уже переверставший всё поле по-новому. Оно, может, и хорошо: меньше полос, значит, меньше земли под межами, да только Савостиным теперь не три надела достанется, а два; Митрохин пай отошёл обществу.

Прежде, говорят, жеребья и впрямь метали на кон, но потом объявились среди мужиков умельцы, которые, не глядя, наострились жеребий кидать так, что он всегда нужной стороной ложился. Эти завсегда себе лучшие полосы отбирали. А у другого, как ни кинь, всё клин выпадает. Поэтому теперь от прежнего только поименование осталось, мол, жеребья метать будут. А на самом деле меченые чурки предстояло тащить из шапки. Сам Платон и метил: он грамотный, ему и книги в руки.

– Резы твои, знать, и шапке твоей быть, – постановил Потапов. – Чтобы не кричал опосля, будто тебя кто поманул.

– Чего всё меня? – закричал Платон больше для порядка.

– А то давай из моей тянуть? – предложил Федос Шапошников, стягивая с головы ветхий треух, в котором ходил и зимой, и летом.

– Твоя шапка драная, – отрезал Савва, – сквозь её жеребья видать. И вшивый ты, я с твоей шапки тянуть брезгую.

– Тогда свою скидай!

– Вот ещё! Так я и позволю тебе грязными лапами в свою шапку соваться. Резы Савостины, так и шапка Савостина, чтобы честно.

Платон уже не ругался. Чего шуметь, если у них всё решено? Может, хоть из своей шапки свой жребий выпадет добрым.

Федос наклонился, набрал земли, принялся натирать ладони, чтобы хорошая чурка также липла к рукам, как унавоженная земля.

– Ну-кася, пусти!

Федос долго ворочал лапой в шапке, потом, зажмурившись, вытащил чурку.

– Й-ех! – закричал он. – Свезло! Всегда бы так!

В толпе загомонили. Федос умудрился с первого раза вытащить лучшую полосу на самой середине поля, где ещё с осени Потапов раскидал несколько телег навоза. Мироед крикнул, но не сказал ничего, лишь когда Федос отошёл от шапки, сам шагнул вперёд, веско объявив:

– Моя очередь!

Никто не возражал, а Платон и подавно. Резы его, шапка, опять же, его, значит, и очередь ему последняя. Не мужицкими пальцами чурки на ощупь различать, а всё бережёного бог бережёт: резчику выбора нет.

Мужики подходили один за другим, тянули жребии, отходили, кто площадно ругаясь, кто довольно покряхтывая. Радоваться вслух, как Федос Шапошников, было неприлично.

Платон стоял с шапкой в руках, как нищий под окном, и постепенно всё больше мрачнел. Один за другим уплывали лучшие куски земли, словно соседи выбирали долю зрячей рукой. Оставалось надеяться, что недоглядел чего или спутал в общей неразберихе. Хотя, куда там надеяться, глаза при себе, куда хотели, туда глядели. И когда последним отошёл, унося свой жребий, гугнивый Ванька Зайцев, Платон попросту вывернул шапку, и на землю пали две окраинных чурки, несущих самую худую долю. Один клинышек на песке у дороги, а второй – суглинок под лесом. Клинь – это не полоса, на ней с сошкой не развернёшься и, как ни старайся, ровной пахоты не выйдет. При дороге всякий прохожий сорвёт на пробу колосок, и к жатве так проредят посев, что и убирать будет нечего. А у леса, как ни бейся, всегда сорняки. Потравы от кабанов и зайцев там тоже самые большие. Не дело, чтобы все несчастья в одну семью, а попробуй против мира и судьбы слово скажи: кольями побить могут. Сам чурки резал, сам шапку держал – жалуйся на недолю кому хочешь. От мира жалости не дождёшься, не свой же пай уступать, вот и молчат смущённо, лишь Федос и здесь не умолчал, брякнул вслух:

– Во как, бог не Микешка, всю правду видит.

И то верно, никто как бог: он талан не поровну делит и, кого захочет, безвинно со свету сживает.

Платон уронил шапку на проклятые чурки и медленно побрёл из круга.

– Батя, ты куда? – Микита, которому как мужику было позволено присутствовать при разделе земли, так ничего и не понял.

Платон не обернулся. Микитка подхватил оброненную шапку и никому не нужные жеребья и побежал следом.

Ноги сами вели в кабак. Сын помер, Платон на трезвую душу горевал, а тут... семьёй по миру идти – считай, та же смерть.

Кабак по виду та же изба, а стоит поперёк всего мирского строения. В нормальную избу вход с проулочка, на дорогу глядят лишь окна, под которыми тянут Лазаря мирские захребетники. Потому у деревенских богачей под окнами палисадничек разбит, отгородиться цветочками от людской худобы. А в кабак да в церковь завсегда с улицы вход. У кабака ещё и коновязь не поленятся поставить: милости просим, гости дорогие!

Покамест в кабаке было пусто, все мужики собрались на делёж земли, но целовальник – Иван Гордеич – стоял на пороге, ожидая питухов. Знал, что сегодня день выдастся горячий, одни придут спрыснуть радость, другие – залить горе.

– Наше вам почтение, – приветствовал целовальник Платона. Платон был в кабаке гостем редким, а к таким шинкарь относился с особым уважением.

– Батя, батя!.. – Микитка дёргал отца за полу, но Платон не слышал. Он стоял, тяжело соображая, чего ради его сюда занесло. И лишь появление Федоса Шапошникова вывело его из прострации.

– А, и ты тут! – закричал Федос. – Давно пора, а то взял обычай: народ в кабак, а он – деньгу в кулак! Пошли, хлопнем по чарке ведёрной, сразу жить легче станет. Господь пьяненьких любит, пьяный и упадёт, да не расшибётся, а и расшибётся, так не до смерти, а и до смерти, так без мучений. Вот я накануне последний пятак у Гордеича спустил, так мне сегодня лучшая земля выпала. А ты мимо кабака ходишь, за то тебе и наказание. Пошли, поклонимся барону Штофу, да чарке-сударке, глядишь, и тебе случай улыбнётся.

Платон развернулся и, не ответив, косолапо пошёл прочь. Из всего сказанного в разум запала одна фраза «Господь пьяненьких любит».

Дома уже всё знали, дурные вести летят побыстрее стрижа. Только ведь это дело такое, и знаешь, что беда идёт, а не остановишь. Пока ворота на засов закладывал, глядь, беда посреди избы на лавке сидит.

Платон прошёл в горницу, сдёрнул занавеску, повешенную, чтобы святые не подглядывали за срамной человеческой жизнью, мрачно уставился в лики.

– Ну что, удружили? Теперь не обессудьте, пожалте к ответу...

– Паля, не трожь бога! – закричала Феоктиста, повиснув на муже.

Стряслась гадкая сvara. Фекия цеплялась Платону за руку и голосила дурным образом, Шурка захлёбывалась плачем, Платон вырывался и рычал: «Порублю поганцев, на растопку пушу!» – лишь один Микита наблюдал происходящее молча, замерев на пороге. Соседи, конечно, крик слышали, но бежать не торопились, о несчастливом жребии Платона знали уже все и сочувствовать предпочитали издали.

Наконец чёрный Платонов кулак приложился Феке по мусалам.

– Батюшки, убивают! – с готовностью взывала Феоктиста, втайне довольная, что гнев мужа направлен уже не на божье благословение, а перекинулся на её головушку.

Платон разом остановился и хмуро сказал:

– Чего раскудахталась? Нас всех сегодня на дележе убило, так что поздно кричать. Как жить-то будем?

Фекия глянула на мужа сквозь быстро натекающий синевой фингал и заплакала молча и безнадежно.

* * *

Не зря говорится, ворон на добычу тянет. В тот же день, ближе к вечеру, объявился возле Платоновой избы перехожий барин Горислав Борисович.

На этот раз прелестные речи сильно смутили мужицкую душу, хотя была в рассказе какая-то недосказанность. Это сказка бывает недосказка, а в правде всё должно быть по правде. Зато о переселении куда-нибудь за Урал Платон задумался крепко. Земля за Уралом вольная, и власти, сказывают, русского мужика не обижают, им для притеснения инородцев хватает. Вот там жить можно, а про сказочное Беловодье лучше байки слушать.

Последнее Горислава Борисовича задело за живое.

– Ну, хорошо, – обиженно произнёс он, – мне ты не веришь, но другим-то людям поверь! Давай, пойдём завтра в Ефимково, я там тебе покажу кой-чего.

– С чего это мне в Ефимково ходить? За шесть вёрст лапти топтать.

– Ты же только что собирался в переселенцы отписываться. Значит, в волость надо идти, отпускной билет брать, паспорт выправлять. Без отпускного билета ты не переселенец будешь, а беглый. Значит, в волость надо, к становому, а это через Ефимково идти. Вот вместе и пойдём. Там я тебе кое-что покажу, а то впустую болтать – только язык мозолить.

– А то и пойдём! – вдруг согласился Платон. – Лошадь поберегу, ей всё одно – пахота или дорога – страдать придётся, пусть покудова отдохнёт, пешком обернёмся. Час туда, час обратно, там узнать, по каким дням становой наезжает, а ежели он там, то когда ещё примет...

– Паля, погодь, – жалобно протянула Феоктиста. – Чего ты взвился, ровно на шило сел? Может, ещё не поедem никуда, перебьёмся как-нибудь до следующего передела.

Вид у Феки с подбитым глазом и зарёванной харей был неубедительный, так что Платон отрезал решительно:

– Следующего передела сто лет ждать. Нет уж, лучше сразу – пан или пропал.

Наутро вышли в путь: Платон в новых лаптях и Горислав Борисович в щегольских своих штиблетиках.

Дорога от города до Ефимково торная, начальство, случись что, приезжает в коляске. От Княжева до Ефимково дорога похуже, идёт где полем, где лугом, а где и через мокрый лес. Места пустые, на пути всего одна деревенька – Рубцово – полтора десятка изб. А Ефимково

не деревня, а село, там не только кабаки есть, но и церковь, и съезжая изба. Волостное начальство, самое ближнее и оттого самое вездливое, бывает не наездами, а в оговорённые дни.

Вышли из дома заутро, но в скором времени попали в жесточайший туман. Хотя по дороге идти – и в тумане не собьёшься. Разбитая телегами колея и тропка по бровке, где, сберегая обувь, бредут странники. Чего ещё желать идущему? По сторонам молоко, а под ногами, всяко дело, путь различимый.

– Сам-то в Ефимкове живёшь?

– Можно сказать и так. Дом у меня там куплен, вот я и приезжаю на лето. А так я в городе.

– Понятно... А про Беловодье зачем врал?

– Не врал, – строго ответил Горислав Борисович. – Дойдём, всё покажу, ничего в карман не спрячу.

– Чой-то больно долго идём. Пора бы уже Ефимкову быть, а ещё и Рубцова не видали.

– Ничего, скоро дойдём.

– Куда скоро? Говорю же, Рубцова ещё не прошли.

– Прошли, прошли. Просто за туманом не видать.

– Дома при дороге, как это не видать?! Вот она, дорога-то!.. – Платон ткнул пальцем под ноги и ахнул от испуга и удивления. На грязи, чуть подсохшей после весенней распутицы, чётко отпечатались невиданный след, словно проехала телега с колёсами в пядь шириной. Да и колёса не гладкие, а в рубцах да выступах, всякий размером в два пальца.

– Батюшки! Это что за страсть господня?

Горислав Борисович глянул и ответил равнодушно, как так и надо:

– Колёсный трактор проехал. Дорога раскисшая была, вот след и отпечатались.

– Что ещё за трактор, прости господи?

– Ну... – Горислав Борисович пожал плечами, не зная, как объяснить простую вещь, – вот ты про паровоз на железной дороге слыхал, так это почти то же самое, только без рельсов. Прямо по земле едет.

– Врёшь! Машину на чугушке специально рельсой сковали, а твоя страховидла, ежели и впрямь на воле бежит, весь народ поперевалит!

– Ну, ты простота! – усмехнулся Горислав Борисович. – Нашёл чего пугаться. На заводе машина – дело самое обычное, без рельсов стоит и никого не давит...

– Не скажи. Только и слыхать: этому на фабрике пальцы оторвало, этому руку зажевало... А ведь заводской машине ездить не положено, на месте стоит.

– Ладно, уболтал, – сдался Горислав Борисович. – Только трактора пугаться всё равно незачем. Железо оно и есть железо – мёртвое, без человека никуда не поедет. А мы с тобой, никак, пришли...

Туман разом опал, словно сдёрнутый, с пригорка открылись окрестности: серые непашанные поля, покрытые забурьяневшим прошлогодним быльём, неолиственный покуда лес, излуцина реки и деревня на берегу. Должно быть, когда-то она была велика, и сейчас уцелевшие дома оказались раскиданы один от другого, разделённые бесчисленными крапивными пустырями. Чуть в стороне возле саженной рощи, в которой угадывалось кладбище, торчала облупленная кирпичная башня. И лишь привычный к разрухе взгляд мог угадать в руине церковь со снесённым куполом, на место которого нашлёпнута нелепая плоская кровля.

– Что это?... – выдохнул Платон.

– Ефимки... – то есть Ефимково твоё. Я же говорил, что скоро дойдём.

– Какое же это Ефимково? Ефимково – село большое, никак двести дворов, княжья усадьба, церква каменная! А тут – словно француз прошёл. Ежели это церковь, то куда ейный купол подевался?

– Была церковь, потом – клуб, кино крутили, пока народ в деревне был. А что купол снесён, так ты сам только вчера хотел иконы на лучину пощепать...

– Ты меня не путай! – заревел Платон. – Иконы – дело домашнее, с ними что хочу, то и ворочу, а в церкви бог настоящий! И вообще, в этой деревне и сорока изоб нету! Куда народ делся? Почему поля заброшены? Куда ты меня завёл?

– Куда шли, – тихо ответил Горислав Борисович. – Ефимково это. Только год у нас сейчас не тысяча восемьсот шестьдесят третий, а тысяча девятьсот девяносто третий. В том тумане мы с тобой сто тридцать лет отшагали.

* * *

Соловый мерин Соколик, истощавший от весенней бескормицы, с натугой тащил гружёную телегу по туманной дороге. На возу было уложено едва ли не всё барахло, имевшееся в семье Савостиных; могли бы – и самую избу сверху навалили бы. Феоктиста вела Соколика под уздцы, Платон с Микиткой шли сзади, на пригорках налегая грудью в помощь ледащему Соколику. От Микиты толку было немного, но и он старался, помогал родителям. Шурка хворостиной подгоняла Ромашку, привязанную к тележному задку. Других животных у Савостиных не сохранилось.

Горислав Борисович шагал впереди, не глядя под ноги, чутьём, природу которого сам не мог понять, находя верное направление в молочной гуще тумана. Сейчас он поверить не смел, что его авантюра увенчалась успехом. Платон, мужик тёртый и мятый жизнью, недоверчивый по природе, при виде заброшенной, пустующей земли преобразился. Он то и дело отбегал с дороги, выдирая приглянувшуюся бурьянину, осыпал с корня землю, разглядывал, растирал пальцами, скатывая в пилюлю, нюхал и едва ли не на вкус пробовал. «А это взять можно?» – спрашивал он едва ли не ежеминутно. «Можно». – «А ту полосу?» – «И ту можно, хоть всё поле бери». – «А ежели я всё поле возьму, а потом начну землю исполу сдавать?» – «Кому? Кто на земле работать хочет, тот её сам берёт. Вон её сколько, все поля пустуют, бери – не хочу...»

После этих слов Платон надолго задумался и, лишь когда они шли обратно, спросил:

– И всё же, что у вас за беда стряслась, что на земле кормильца нет?

– Беда известная, и стряслась она ещё у вас и даже прежде вашего. Сам же говорил: изводят власти мужика. Все тяготы ему, а послаблений никаких. Вот и извели вконец. Теперь-то спохватились – ан поздно! Некому стало на земле работать. Земля непаханая, а из города людей не заманишь. Да и разучился народ в деревне жить. Дачничать, вроде меня, могут, а работать – нет.

– Что ж вы тогда едите? – не удержался Платон.

– И не говори!.. – Горислав Борисович усмехнулся и произнёс непонятно: – Всё больше приходится генетически модифицированный импорт кушать.

– Я не буду, – твёрдо обещал Платон.

– Кто ж тебя неволит? Ты крестьянин, у тебя всё своё.

Эта беседа случилась уже на обратном пути, а допрежь они прошлись по убогим остаткам села Ефимкова, которое умудрилось за сотню лет и название своё перепутать, обратившись в простецкие Ефимки. По счастью, не встретилось им ни трактора, ни пропылённого автобуса, ни иного механизма, способного перепугать дикого мужика. Умирающая деревня погибала тихо, с достоинством, как гаснет в своей избе пережившая век старуха. Кое-где ещё бродили куры, бабка Зина сидела на лавочке и вежливо поздоровалась с идущими, ничуть не удивившись посконным портам и ивовым лапоточкам дачниковского гостя. Наша обувь – чунь да лапоть, Зина и сама в довоенной молодости этих лаптей тьму истоптала. При скопидомном деревенском хозяйстве в тех домах, где ещё теплится жизнь, и сей-

час можно найти кованый костык для плетения лаптей. Случись что с городом, деревня и без сапог обойдётся, босой по снегу ходить не станет. Однако случилось, что хизнула деревня, а город покуда живёт генетически модифицированной импортной жизнью. Только как это объяснить лапотному Платону? Платоновская этика подобных вещей не понимает.

В дом к Гориславу Борисовичу Платон не зашёл, а вот соседнюю избу, стоявшую через два пустыря, осмотрел внимательно. Дом этот Горислав Борисович, после того как сыскал тропу в прошлую Россию, купил якобы на дрова за три миллиона рублей, чтобы поселить в нём новых соседей.

Дом понравился не особо: ни лавок, ни полатей – на чём спать прикажете? Крыша крыта просмоленной бумагой – будет ли стоять? – и как насчёт пожара? Печь, впрочем, была справная, а по деревянной части, если топор и руки есть, всё поправить можно.

– Дом чей? – спросил Платон.

– На меня записан.

– Почём ценишь?

– Договоримся, – отмахнулся Горислав Борисович. – Ты ещё здешних цен не знаешь, так что обмануться можешь легко.

– Платы сколько будешь брать, пока дом не выкуплен?

– Да нисколько! Мне не деньги дороги, а соседи добрые.

Эти последние, совсем несерьёзные слова убедили Платона, что всё так и обстоит, как рассказывал удивительный странник.

Домой Платон вернулся к вечеру и, благо что весенний вечер светел, приказал семье начинать сборы.

– Ты что же, бумаги за один приход выправил? – ужаснулась Феоктиста, втайне надевшаяся, что никуда они не поедут, а как-нибудь выкрутятся дома.

– Ничего я не выправлял, – отрезал Платон. – Так поедем. Становой да мирские власти всю душу вынут, и на новом месте к весенней пахоте опоздаем. Там пачпорт получим, а отсюда бежать надо по-тихому.

– Паля, ты с ума сбрендил, не иначе! Через всю Россию без пачпорта; власти переимут, в Сибирь отправят!

– А мы с тобой куда намылились? – хохотнул Платон. – В Сибирь езжаться – не Сибири пужаться. – Платон оборвал смех и добавил серьёзно: – А ведь странник-то не соврал: дорога туда и впрямь по облаку. В один день обернуться можно. Я сегодня не в Ефимкове был, а в том самом беловодном краю, и вот этими глазами всё видал.

– Паля, опомнись! Этот странник тебе голову задурил, глаза отвёл, а тебе и поблазнилось, будто ты кущи райские видишь. А сам он, небось, на нашу избушку глаз положил.

– Нет... – тихо протянул Платон. – На райские кущи я бы не купился. Трудненько там придётся, неустройства много всякого, это и слепой заметит. Но земля там и впрямь вольная. Мне тут без земли рук приложить некуда, а там – справимся, если сила возьмёт. Потому и поверил, что там не винограды ждут, а работа. Так что собирайся, Фектя, живой рукой. На сборы нам всего один день дадено.

И вот теперь небывалые переселенцы шагали сквозь непроглядный туман, по облаку, добираясь в те места, где земля пуста, где лес и река ждут мужика.

– Но, Соколик, но!.. – покрикивала Феоктиста, подгоняя мерина, которому тяжело было поспевать даже за неспешно шагающим Гориславом Борисовичем. – Но! Доедем – овса дам!

Какой там овёс? Пожевать бы пожухлой летошней травы, что объявилась округ дороги. И как это её никто не скосил, а под осень не прошёл с литовкой ещё разок, укашивая подросшую отаву?..

– Но, Соколик, но!..

Дорога пошла под уклон. Сильно под гору коню с возом ещё тяжелей, чем в гору, едва не на круп приходится садиться, удерживая рвущуюся вниз тяжесть. А тут, вроде и с облака спускаешься, а не круто – коню облегчение.

– Батюшка, – спросила Феоктиста, пользуясь минутной передышкой и тем, что строгий муж не слышит. – И всё-таки, зачем ты нас с места сорвал? Тебе-то с того какой прок? Нам уж всё одно, возврата нет, так скажи, не томи душу.

– Эх, – крикнул Горислав Борисович. – Вовремя ты свой вопрос задала. Тут место такое, на спрос отвечать надо. Соврёшь – не туда приедешь, а вовсе не ответишь, то и совсем никуда не дойдёшь, так и будешь блуждать в тумане. Со мной всё ясно, я домой иду, тут говорить не о чем. А вы позади тащитесь, вроде как в гости. А зачем мне гости, это уже другой вопрос, да такой, что и отвечать неловко. В ином месте я бы соврал, а тут – нельзя. Ты уж не смейся на глупую правду, другой у меня нет. Я, видишь ли, прежде у Храбровых молоко покупал – литр в день. Одному мне много не надо, так что и на простоквашу оставалось, и коту в мисочку плескал. А теперь Храбровы корову сдали, не можем, говорят, больше держать, устарели для этого дела. Во всей деревне ни одной коровы не осталось: ни сметаны взять негде, ни творога. И так мне от этого тоскливо стало... вот бы, думаю, появились соседи, которым корова не в тягость, а в радость, при которых улица крапивой не зарастёт, чтобы работать умели, себе и другим на пользу, и чтобы трезвыми были, а не как ваш Федос, что дочернино приданое пропил... С этими мыслями и пошёл я как в тумане, сам не зная куда, и вышел напрямик к вам. Я ведь несколько раз к вам ходил, присматривался. Тоже и у вас люди со всячиной попадают. Мне уже потом сказали, что есть, мол, в Княжеве семья Савостиных: и непьющие, и работающие, а счастья им нет. Пошёл к вам и попал в самый раз на голодные поминки. Вы уж простите, не знал я тогда, что у вас горе... А сорвал вас, получается, из-за кружки молока... как хотите, так и судите.

– Что тут судить, – одышливо произнесла Феоктиста, потягивая под уздцы Соколика, поскольку дорога вновь пошла в гору. – Тебе бы на месяц раньше прийти, глядишь, Митрошка тоже сейчас с нами ехал бы. А так... откормится Ромашка на свежей траве, телёночка принесёт – будет и молоко.

Туман проредился, открыв взгляду заброшенные поля, редкую россыпь изб и обезглавленную развалину ефимковской церкви.

– Ох-ти, лишенько! – с ужасом выдохнула Фектя. – Куда ж ты нас привёл на погибель? Чисто слово, Мамай в округе прошёлся!

– Тут хуже, чем Мамай. Не татары, сами всё порушили. Только на вас теперь и надежда.

Глава 2

На Ильинскую было решено обходить деревню. В прошлом году поленились, деревню не обошли, и случился пожар. Сгорел иванцовский дом на нижнем конце. Сама Иваниха померла уже давненько, внуки не приезжали, дом стоял раскрытый, случалось, там ночевали пришлые ягодники, ну и спалили дом, может, случайно, а может – из озорства. Хорошо, ветра не было, а то в Пальцеве вот так же семь домов за раз сгорело, из них – четыре жилых.

Собирались, как привыкли, на автобусной остановке возле магазина. Магазин не работал лет десять, на нём уже и дверей не было, и печку разобрали на кирпичи, но автолавка, приезжавшая дважды в неделю, традиционно останавливалась здесь, так что здесь и центр деревни считается.

Тётка Анна, заводчица всякого общего дела, принесла большое решето и три старинные иконы: Спаса, Неопалимую Купину и Егория, гравированного на меди. Образа и впрямь были старинными, даже савостинское благословение, привезённое из Княжева, уступало и возрастом, и письмом. Впрочем, в решете нашлось место и двум савостинским образкам, что помельче, и складню Березиных, новодельному, но зато привезённому из Иерусалима, от самого гроба господня, куда туристом ездил березинский внук. Храбровы своих икон не дали, у них образа большие, в решето не лезут. Поставили огарочек пасхальной свечи, насыпали пряников и конфет, положили пару не ко времени крашенных яиц. Хорошо снарядили решето, как следует. Нюрка Завадова, беспутная баба, пропившая всё, кроме визгливого голоса, громко затянула: «Христос воскрес из мертвых!..»

– Смертию смерть поправ! – подхватили собравшиеся, и крестный ход двинулся округ деревни, противосолонь, медленно и чинно, как издавна привыкли. Первым на пути оказался дом Горислава Борисовича. Самого хозяина не случилось дома, уехал в райцентр. Тем не менее встали напротив, дважды спели пасхальную песнь. Тётка Анна встряхивала решетом, побрякивая иконами, чтобы добро сеялось, зло отсеивалось. Неважно, что Горислав Борисович дачник и зимами не живёт, да и вообще, говорят, не крещёный, для хорошего человека не жаль боженьку тревожить.

– ...и сущим во гробе живот даровав! – выводила Феоктиста, сложив руки на тугом животе. Осенью приспееет пора рожать. Докторша в городе водила по Феоктистову пузу машинкой, сказала, что будет мальчишечка. Фектя обещанию верила и не верила. Городские, они и на прежнем месте многое умели, но чтобы в живот заглянуть на нерождённое дитя... это дело сомнительное. А с другой стороны, может, и впрямь посылает бог сына взамен взятого Митрошеньки. Савостиным и имя выбирать не надо – Миколка будет, а по-городскому – Николай.

Шли кошеным лугом, уже второй год, как Платон от деревни до реки траву выкашивал. Две дойные коровы, тёлка и лошадь – не шутка, восемьсот пудов сена накосить нужно. Да ещё баран и четыре ярочки, да в хлеву поросая свинья, ей тоже сенца или соломки постелить надо, не в навозе же зимой валяться. Трудов много, отдыхать некогда, особенно единственному на всю деревню справному мужику. Земли полно, скотина расплодилась, а руки всего две.

– Христос воскрес из мертвых!..

Пустая избушка, в палисаднике – репы вперемешку с неистребимыми флоксами. Окна целы, живые соседи не дали сразу разрушить дом, за пыльными стёклами видны белые занавесочки. Наличники резные, юбка над окнами резная, на князьке петушок посажен – до сих пор красиво смотреть. Кто-то рукодельный жил, ради красы старался, да повывелся, ровно холера деревней прошла.

– Христос воскресе из мертвых! – пустому домишке один раз спели, для порядка, только от пожара.

– Баба Лиза жила, Симакова, – объясняет тётка Нина, пока молельщицы обходят забурьянелый огород. – Мужа у ей в войну поранили, так он, как вернулся, почти не жил. Детишек наплодил двоих, да и помер. Сын в Череповце, на заводе, дочь замуж в Ленинград вышла. Хорошая старушка была бабка Лиза, дробнёнькая.

– Дом-то кто ладил? – спросила Фектя.

– Сын и ладил. Он, пока мать жива была, часто приезжал. А теперь не едет, уж не знаю, сам-то жив ли...

– ...смертию смерть поправ! – из крапивной поросли торчат концы трухлявых брёвен, уже не разобрать, дом стоял или сарайна.

– Новиковы прежде жили. Теперь их никого в деревне не осталось, кто попримёр, кто уехал.

– ...и сущим во гробе живот даровав! – на самом краю дом богомольной Анны. Здоровенный домище, четыре окна вдоль улицы, да в проулок кухонное окно. Тётка Анна одна живёт, племянники раз в год наезжают, в лес сходить за брусникой, а своя дочь в Минске и матери не пишет. Минск теперь заграница.

«Бряк-бряк!» – иконы в решете, чтобы добро сеялось на Аннин двор. Всего добра у Анны – четыре курицы и петух. Голосистый... а то и не докличешься хохлаток в бревенчатом дворе, где всякой живности место нашлось бы.

Вышли на дорогу, повернулись к деревне лицом, дважды пропели всей деревне. Прилучившийся «жигуль» тормознул, двое парней из салона вылупились на невиданное зрелище.

– Христос воскресе из мертвых! – продолжая петь, уступили дорогу машине, а те не уезжают, смотрят на старух, иконы, решето...

Сошли с дороги, двинулись в гору. Тут домов не так много, в совхозные времена были сенные сарай, весовая, а на самом верху – два коровника, выстроенных на остатках фундамента княжьей усадьбы. Мимо шли, как вдоль пустого места, гореть в развалинах нечему, всё давно истлело, а что можно было снять и продать на сторону, давно раскурочено. И шифер с крыш снят, и кирпичные переборки потихоньку разбираются на ремонт печей. Кирпичная кладка стариковским рукам неспешно поддаётся, а то бы давно остались одни бетонные столбы да кучи древесной трухи.

Горислав Борисович пытался объяснять Фекте, что значит слово «совхоз», но та поняла лишь одно: власти прогнали старого князя, а мужиков снова сделали крепостными, но не князьими, а государевыми. Разницы между государём и государством Фектя не видела.

– Христос воскресе из мертвых!.. – нечему здесь воскресать: ни княжье не вернётся, ни совхозное. А народится ли что новое – бог весть.

– ...и сущим во гробе живот даровав! – и в советское время старухи, случалось, обходили деревню с решетом. В те поры последняя строка молитвы звучала едко и кощунственно. За холмом в сторону от Ефимок отходит тропа, единственная не заросшая по сю пору. И быть тропе не заросшей, покуда за холм не переселится последний обитатель деревни. Зато в совхозную эпоху по четвергам и субботам бегала на кладбище вся поселковая молодёжь. С соседних деревень тоже приезжали на мотоциклах, мопедах и простых великах. Разносились над могилами звуки фокстрота, а то и запретного шейка. Танцы-шманцы-обжиманцы... – нате вам, сущие во гробех, развесёлую жизнь. Четверг – кино, суббота – танцы. В остальные дни обезглавленная церковь стояла тихая, лишь библиотекарька перекладывала свои книжки, отбирая для редких читателей те, что позанимательней. Библиотекой заведовала Галя Новикова – старая девушка, некрасивая и бледная до прозрачности. Поговаривали, что с неё сосёт кровь упырь – отсюда и немочь. Оно и впрямь – Галя даже ночевать порой оставалась в церковных стенах – зачем, если упырь к тебе не ходит? Теперь те пересуды остались лишь в

памяти бабки Зины, а сама Галя давно схоронена по соседству с развалинами своей библиотеки. Тоже, говорят, встаёт из могилки, но беды в том нет, девушка безвредная и при жизни была, и по смерти. Только в церкви порой огонёк ночами мерещится – Галя книжки читает.

Теперь как ни назови – церковь ли, клуб – всё в развалинах; смерть взяла своё, и если жив кто по деревням, то лишь оттого, что без живых и смерти не будет. В районной газете порой пишут, что надо бы ефимковский храм отремонтировать. А кому это надо, в безлюдной глуши? Ради двух десятков пенсионеров стараться? Вот в городе – иное дело. Была музыкальная школа, у Храбровых внучка на пианине училась. Вспомнили, что прежде на том месте была часовенка: Никола на Бугру. Школу погнали, сделали церковь. Теперь в городке церкви две, а музыкальной школы нету. Так оно и хорошо, безграмотный народ крепче верует. Школы ломать – дело важное, а старухи в Ефимкове и без церкви благополучно попримрут.

– Христос воскресе из мертвых!..

Нюрка запекает, визгливо, куражисто, за ней и остальные тянутся. Фектя поёт негромко, не приучена песни орать, зато Шурка с Микиткой разливаются, что есть голосишек; в кои-то веки при взрослых пошуметь можно:

– ...воскресе из мертвых!..

– Хорошо! – говорит тётя Нина Сергеева. – Я уж думала, мы своё отпоём, а после нас одни птички петь будут. Спасибо, вас господь послал.

Горислав Борисович велел Савостиным говорить, что они переехали из Приднестровья. Там война, румыны хотят русских в свою веру переделать. Какая вера у румын, Фектя не знала, но охала непритворно. И куда государь смотрит? В том, должно, и разница между государём и государством, что государству на людишек наплевать, хоть бы и вовсе их румыны в свою цыганскую веру переписали.

В деревне о румынской вере тоже ничего не знали, да и не больно расспрашивали. Главное, что хорошие люди не мимо, а к нам. В сельсовете и милиции по той же причине ни о чём особо не допытывались, а выдали взрослым паспорта, детям – свидетельства о рождении. Это в городе у беженцев трудности с гражданством да с пропиской. В деревне с этим легче: приехал русский человек – ну и живи.

И чего беженцев так в Москву тянет? Езжали бы в Ефимки...

Потихоньку, шаг за шагом, обошли всю деревню. Спели живым и мёртвым, разъехавшимся кто куда, и тем, кто хоть на Троицу приезжает или осенью за брусникой. «Бряк-бряк», – иконы в решете. Христос-то воскрес, ему это в обычай, а Ефимки кто воскресит? Симачовых нет, Новиковых нет, Зайцевы с Бобровыми перевелись, Журавлёвы улетели, Виноградовых – одна бабка Зина, что засохшая ёлка, второй век скрипит. Федотовы пропали и Переверзевы тоже. Большая была деревня, кладбище так и сейчас большое, только ухаживать некому. Кресты покосились, скамеечки попадали. Стройности нет, словно и мертвецы перепились и гуляют, кто во что горазд.

– ...смертию смерть поправ!

«Бряк-бряк!..» – сейся добро, отсеивайся лихо.

Фектя, когда ей всё-таки втолковали, куда она попала, пошла на кладбище. Искала Митрошкину могилку и могилы родителей. Ничего не нашла, как не было. Обходила церковную руину, прикидывала, где может лежать Митрошка – нет ничего, даже самого что ни на есть холмичка. Прежде направо от паперти богатые могилы были, с чугунной оградой, каменными плитами. Православные склепов не строят, но князья от чёрного люда отгородились железным забором. Не помог и железный забор, всё снимали, и даже могильные плиты увезли и положили под фундамент строившегося селпо. А толку? Ни могил, ни селпо – ничего не осталось.

Фектя после этого твёрдо сказала: не та это деревня! Похоже, но не та.

Идёт крестный ход кругом деревни. Споют молитву, потом идут дальше, переговариваясь о земном.

– ...прежде на ферме двести коров держали. То-то подоено было! От коровы нужно взять по три тысячи литров, да по три с половиной. Рученьки болят, а попробуй скажи, что не можешь доить. Бригадирша строгая была, Веселова Антонина... – у ей не поболеешь. Не можешь доить – иди навоз грести вместо скотника. Чего тут делать? – вымечко ей подмоешь и начинаешь доить. А как корова маститная попадёт, что тогда? Так и плачем обе: у мене руки болят, у ей – сиська. Маститное молоко в зачёт не идёт, его телятам выпаивали, а раздаивать корову надо, а то пропадёт. Вот и стараешься за так просто.

– Христос воскрес из мертвых! – водокачке тоже спели, чтобы не ломалась. От деревни водокачка в стороне, воду на фермы качала, коров поить. А людям что останется. Антонина следила, чтобы на колонки воду не подавали, пока коровы не напоены. Да и колонки не на всю деревню, а на один только конец. На другом конце прежде были колодцы, никак, три штуки – да пообсыпались. Теперь люди с вёдрами на кипень ходят.

Трава на косогоре добренная стоит, отцветает некошенная – сюда Платон с косой не добрался – сила не берёт. Ромашки отцвели, колокольчики доцветают, засохший купырь осыпает землю перезревшими семенами. Скоро добрая трава повыведется, останется один купырь. А кому она нужна, эта трава? Сам, что ли, есть будешь?

– Прежде-то всё выкашивали, для своей коровы травинки не сыщешь. По канавам вдоль дорог косили или на лесных делянках. Колхоз делянку отмерит, ольшаник на дрова рубить, так сначала весь сор выкосишь для коровы, а дрова рубишь зимами.

– Зато земляники было на лесных покосах!

– Это да... А ноне всё заросло, потеряешься – с собаками не найдут. Брединник так ли густо разросся – не протиснуться. А хорошего леса не осталось, всё повырубили, гриба сорвать негде.

Фектя вспомнила, как сразу после манифеста застучали по лесам топоры – князь, лишившись мужиков, восполнял убытки, вырубая столетние боры. Русский лес, что русский мужик, все его рубят разбойным образом, а ему перевода нет до той поры, как оглянешься – а кругом ничегошеньки, кроме трухлявых пней.

– Христос воскрес из мертвых!

– Чем же скотину кормили, если покосы отобраны?

– В правлении солому выписывали. По три копейки за килограмм. Житная солома мягкая, её корова ист. И овсяную тоже. А ржаную только лошадь ист, да и то плохо.

Всю верхнюю сторону обошли, вновь выбрались на дорогу. Пропели деревне и отсюда.

Машина, что на том конце повстречалась, никуда не уехала, поставлена возле бабки-Зинино дома. Парни из машины вышли, разговаривают с хозяйкой. Бабка Зина, увидав молельщиц, болтунов оставила и похромала к бабам, спеть с крестным ходом для деревни и своему домишке особо. Весь крестный ход Зине не осилить, ноги не те.

– Христос воскрес из мертвых!

– Что за люди приехали, баб-Зина?

– Бес их знает... Выжиги какие-то. Самовары, говорят, покупаем старые и иконы. Придумали тоже, самовары с иконами путать! Я им так и сказала: вот дорога прямая, езжайте с богом откуда приехали, а у нас вам делать нечего.

К бабке Зине Фектя приглядывалась внимательно с тех самых пор, как старуха во время общей беседы ожидающих автолавку хозяек помянула, что сама она не Ефимковская, а из Княжево – была такая деревенька неподалёку, давно уже снесли, во время укрупнения.

Побывав на кладбище, Феоктиста разуверилась, что ей в будущем жить привелось, а после Зининых слов снова засомневалась: может, и впрямь они по облаку сто лет ходили, а народ на низу тем временем подвымер, так что память о родной деревне только у одной

бабы Зины и сохранилась. Опять же, родни у Савостиных в Княжеве не осталось, а свойственников – полдеревни. Может, и бабка Зина им не чужая? Поспросить бы... но твёрдо помнился наказ Горислава Борисовича – никому про себя не открываться: кто такие и откуда пришли. Беженцы – и всё, от румын утекли. Это Фектя и сама понимала: ходи тихохонько, гляди скромнёнхонько – и господь тебя не оставит. А впусте болтать – беды наживать.

По речной стороне, чисто выкошенной, в зелени отав, двинулись в обратный путь. Тут уже всюду чувствовалась рачительная Платонова рука. В первый-то год Платон глупостей понаделал изрядно. Вскинулся было сеять рожь, льном хотел заняться, пашни пытался поднять больше, чем сила берёт. Потом узнал цены на хлеб и на работу, пошумел и успокоился. Цены стояли невиданные: всё тыщи да мильёны, но вескости в тех деньгах не было, одно прозвание, что деньги. Если бы не Горислав Борисович, Платон ещё и не таких бы глупостей натворил. Теперь он и сам знал, что сажать прибыльней картошку и лук, а хлеб покупать сразу печёный или молотый, чтобы самим печь из готовой муки. В цене оказалось молоко, особенно если продавать в городе, так что едва Феоктиста перестала шарaxаться от брюхатого автобуса, на городском рынке она стала своей, и покупатели постоянные объявились, специально по вторникам и пятницам приходившие на базар покупать творог, сметану и густое Ромашкино молоко. Потому и народившуюся тёлочку не продали, а оставили себе, а потом купили у совхоза Бурёну, которая, отъевшись на щедрых домашних кормах, стала давать в день по три ведра молока.

Конечно, никогда бы такой лепоты не добиться, если бы не добрый барин Горислав Борисыч. Он и впрямь не назначил никакой платы за дом, кроме крынки молока в день, а по жизни помогал много, и советом, и делом. Летом с Микитой и Шуркой сидел, долбил азы, чтобы детишки в школу пошли не хуже других.

Со школой на новом месте было строго. Из города барыня приезжала, сердилась, что Микитка доселе в школу не бегаёт. Спасибо, Горислав Борисыч оборонил: «Какая, – говорит, – школа, если они беженцы?»

Поворчала барыня да и успокоилась. Сказала, что с осени будет специальный автобус ходить, отвозить детей в школу: двух Савостиных и ещё двоих из Подборья. Савостины уж и не удивлялись ничему. Но детей снарядили как следует. Из первых заработков штиблетики купили, вроде тех, в каких Горислав Борисыч приходил: ни босому, ни в лаптях в городской школе показываться негоже.

Горислав Борисович привёз из города две заплечные сумочки навроде кожаных, азбуки и тетрадки: урок писать. Сказал – школьная барыня выдала, как малоимущим. А на будущий год уже такого не будет: сами детишек обряжайте. Платон кланялся, благодарил. Детям велел школьное беречь пуще глаза. Хотел даже попороть для острастки, но передумал: прежде вины наказания не бывает.

В школу провожать чуть не полдеревни высыпало. Вообще-то народ проверял, правда ли, что теперь ради школьников дополнительный автобус ходить будет. Школьников-то всего четыре человека, значит, и старухам местечко в автобусе сыщется. Но хвалили нарядных детей от души. Дачница Людмила Антоновна половину георгинов в палисаднике срезала первоклассникам на букеты. Дачницу тоже понять можно: не будь Савостиных, сидела бы она всё лето с цветами, но без молока.

На зиму дачники уехали, но к тому времени Платон уже сам понимал, что к чему. Колот старухам дрова, чинил прохудившиеся крыши, резал овец и свиней тем, кто крови боится или попросту не умеет. За мясницкую работу брал кровью и мясом, за остальное – деньгами. Цены к тому времени уже знал и тысяч не смущался.

Старики поначалу пытались расплачиваться самогоном или красной головкой – крепчайшей горючей водкой, которую продавали в городских ларьках. Пили красную головку, разбавляя вдвое водой, а воняла она хуже сивухи, однако среди пропойных мужиков цени-

лась больше денег. Платон водки и на понюх не брал, к этому все вскоре привыкли и рассчитывались деньгами.

Если Фектя свято блюла наказ Горислава Борисовича жить неприметно, то для Платона главным было другое: вина не пить. Это Горислав Борисович заповедал крепко-накрепко. Сказал, что держатся они в этом краю до тех пор, куда капли в рот не берут. А как выпьют хоть единую каплю, тут их назад и сбросит. С облака падать – не на облако лезть – быстро свалиться можно.

Трезвенный зарок – крепкий, а наказ не высовываться – это человеческое бережение, ежели с умом, то его и похерить можно.

Ещё с осени Платон прослышал, что в уездном городе – теперь он прозывался районным – дважды в год бывает ярмарка. Сдуру с товаром не попёрся, сначала тишком съездил, поглядел, что люди покупают, что продают, и какие на товар цены. Вернувшись, долго тряс головой и смеялся людской глупости, а когда кончились работы в поле, отправился на ближайшую лягу рубить брединник. Куст это самый бездельный, но в рабочих руках и он сгодится. Черены для лопат и вил из брединника получают наилучшие: лёгкие и не ломкие. Из тонкой лозы корзины и короба плетутся, а кора идёт на лыко. Это в тёплых краях народ в липовых лапоточках – щеголяет, а во деревне Ольховке лапти липовые лишь в песне поминаются, а на ноге живёт ивовый лапоть.

Плести корзинки – занятие стариковское, но что делать, если никакого промысла на деревне для мужика не осталось? В извоз не подашься, теперь все на машинах ездят, щебень бьют тоже машинами, кирпич на стройке никто на козе не таскает – краном двигают; и даже в грузчицком деле объявилась прежде неведомая малая механизация. А так... зимние вечера длинные, свет электрический яростный и дешёвый. Сиди да плети.

Фектя прядёт – не для себя, своих баранов в первую зиму ещё не было, Храбровы просили шерсть спрясть. Дети уроки пишут, потом примутся под столом ногами пинаться.

– Кончили с уроками? – спрашивает отец.

– Нет ещё!

– Тогда живо за дело, а то мне за розгой далеко ходить не надо!

И снова в доме тишина. Фектя прядёт, Платон плетёт, дети буквицы пишут. «Буки-аз! Буки-аз! Счастье в грамоте для нас!»

А по весне, когда на Масляную в городе вновь устроили ярмарку, Платон удивил весь городок. Савостины явились на базар вчетвером, и не на автобусе приехали, а на доверху гружёном возу. Платон был наряжен в армяк, и Микита в такой же армячишко; женщины – большая и малая щеголяли в цветных полушалках и самых нарядных кацавейках с овчинкой на вороте и подоле. Из-под верхнего платья у мужчин виднелись пестрядинные порты, а у женщин – подолы сарафанов. А на ногах у всех четверых красовались новенькие, нарочно для того сплетённые лапти.

«Эх лапти мои, лапти липоваи! Вы не бойтесь одетё, батька новаи сплетё!...» Ярмарка при виде такого маскарада ахнула. Даже милиционер, собиравший среди торгующих дань, к Платону не подошёл, решил, что артисты приехали.

На продажу Платон выставил корзины, корзинки и корзиночки, короба и коробочки, набирки, берестянки, лыковые кошёлки и даже берестяные солонки и шкатулочки, сплетённые после уроков детьми. А гвоздём всему были лапти, причём к каждой паре прилагались обмотки и онучи из домотканого холста.

Цены на свой товар Платон назначил божеские и лишь за лапти заломил, что за модные сапожки на высоком каблучке. И не прогадал! Уже к обеду весь товар был распродан, даже новую рогожу, на которой раскладывал мелкие плетушки, продал, даже куколки, что мастерила Шурка из мягкой овсяной соломы, что и лошадь ест, и корова ест. А лапти покупатели

прямо из рук рвали, и не мужики, а городские баре. «Стиль рожно», – с утра Платон этих слов не знал, а к обеду козырял ими почём зря.

Фектя рядом торговала: творог в берестянках, сметанное масло в кадочке и тут же мутовки, если какая хозяйка сама захочет масло сбивать. Всю неделю Фектя копила молоко для большой торговли, детям и телёнку доставались только сыворотка да пахта. Торговала дороже обычного, а распродала всё ещё раньше Платона. Последнее масло купили вместе с кадкой, хотя кадочка была самая простецкая: из осиновых плашек. И обручи не железные, а всё из того же перевитого брединника.

Люди подходили, спрашивали: откуда Платон приехал, как да что. Платон, наловчившийся ещё по старым ярмаркам, отвечал баско: «Я из тех же ворот, что и весь народ! Зря хвалиться не стану, товар сам себя хвалит. Деньги есть – торгуйся, а нет – так любуйся!» Со всеми побалагурил, толком никому ничего не сказал.

Распродавшись, Платон гоголем прошёлся по рядам, но нигде не задержался, лишь детям гостинцев купил, а там – уселись на телегу и дай бог ноги. Понимал, что денег наторгованы большие мильёны и зря с ними гулять не стоит. Однако уехали благополучно, никто на выручку не позарился и сослеживать не пытался.

А через день оказалось, что не так-то они благополучно уехали. Тётка Анна принесла районную газету, а там на самой первой полосе вся савостинская семья. В газете напечатана большая статья о прошедшей ярмарке, а в заголовке проставлены Платоновы слова: «Я не фермер, я русский мужик». И впрямь, говорил Платон что-то такое. Вертелся вокруг один чернявенький, всё расспрашивал, аппаратиком щёлкал. Платон думал: «Уж не мазурик ли?» – а он вот кто оказался. Ну да ладно, бог не выдаст, свинья не съест. Авось и газета забудется.

На ярмарочные деньги купил Платон в совхозе Бурёну. Кормов в совхозе кот наплакал, один вонючий силос, да и того – чуть. Коровы стоят тощие, молока с них и машиной не выцедишь, но Платон видел: скотина удоинная, её откормишь – она молоком отблагодарит, всем кормилица будет.

Весной приехал из Питера Горислав Борисович. Удивлялся на Платоново хозяйство, хвалил. Этой весной Платон уже не пытался поднимать целину и сеять хлеб. Засеял полосу овсом – скотину кормить, полосу – картофелем. Перепахал огород Фекте под грядки, потом соседям начал огороды перепахивать. Прежде ефимковские кто с лопатой на плану ковырялся, кто ждал, когда с центральной усадьбы прикатит трактор и перевероршит землю, подняя с глубины глину. Лошадью пахать не в пример аккуратней, да и дешевле; Платон помнил свою недавнюю бедность и душу из соседей не вынимал. Мало ли что у них пенсия, а у него спиногрызов двое – на пенсию много не наживёшь.

И уже казалось, что всегда так и жили, а переделы земли, голод и смерть сыночка только в страшном сне привиделись. Сыночек, вот он, в мамкином животе сидит, скоро народится. Славная страна Россия-За-Облаком, и особенно хорошо там живётся крестьянину, потому как осталось крестьянства всего ничего, на один погляд, и жизнь ему, что зубру в пуще: хомута он не знает, а стерегут его, берегут и сеном прикармливают. И отчего только повывелись на Руси и зубры, и мужики?

Но куда есть в Ефимках крепкая семья Савостиных, то и остальная деревня копит. Хоть с одной стороны, но покошено, на выгоне осеки поправлены, две коровы бродят и тёлочка, овцы – свои да храбровские, да тётки-Нинина коза – все там. Какое-никакое, а стадо, и когда бабы обходят деревню крестным ходом, то и осекам споют: «Христос воскрес из мертвых!» – и образами побренчат, вытрясая на скотину небесную благодать.

Закончился круг у савостинского дома. Никита с Шуркой тут же ускакали на речку, а взрослые по проулку мимо избы Горислава Борисовича поднялись к автобусной остановке, чтобы завершить молебен честь по чести. Там разобрали образа, а прочие дары оставили Анне – её решето, она трясла, ей и пряники есть.

Феоктиста отнесла иконы домой, поставила в киоте, затеплила лампадку. Хоть и не ко времени, но пусть погорит, пусть боженьки на огонёк посмотрят, отдохнут – им сегодня работы привалило.

Обрядив киот, закрыла избу на клямку и пошла в деревню. Сегодня праздник, на земле работать нельзя, так хоть с людьми поболтать, а то язык мохом обрастёт.

Бабка Зина по-прежнему сидела на скамейке под окнами.

– Подь сюда! – крикнула она. – Поговори, а то все мимо идут.

Была Зина туга на ухо, говорила громко и неразборчиво, отчего казалось, что она вечно ругается. Потому и охотников с ней беседу беседовать немного было. Но Фекте то как раз на руку. Подошла, присела рядом, ожидая, что скажет девяностолетняя старуха.

– Деревню обходили? – вопрос самоочевидный, и задан для затравки разговора.

– Обходили, бабушка. Шла и слезьми обливалась: дома раскрытые стоят да порушенные, живых едва знать.

– А ты что хотела? Распустили народ, вот он и разбежался, что тараканы от кипятка. Прежде строгости было больше, так зато и баловали мене, чем теперь. Ты вот... – Зина придирчиво оглядела Фектин наряд, – ты хорошо ходишь, правильно, а другие юбку выше колен задерут – и шасть на танцульку! У нас не так было, нас отец строго держал. Чтобы в школу ходить – и думать не могли! Я и посеичас буков не знаю. Школа – она для мальчишек, а девке и дома дело найдётся. Огороды пропалявать или хлеб жать – всё нашими руками. Рожь жали не как теперь, а всё серпом. Ты серпа, поди, и в руках держать не умеешь...

– Умею, бабушка.

– Ну-ко, покажь! – старуха живо проковыляла во двор, выдернула из-под застрехи старый, донельзя заезженный серп, ручкой вперёд протянула Фекте.

– Так он негодный, – растерянно проговорила та. – Ишь, как сносился!.. зубрить надо.

– Сама знаю, что негодный! Мужа у меня немец убил, а других мужиков я на порог не пускаю, честно живу. Моего тела никто вот по сю пору не видел, – Зина очеркнула корявой ладонью по лодыжке.

«То-то, небось, охотников – твоё тело глядеть», – ехидно подумала Фектя, а вслух сказала:

– Было бы зубильце, я бы и сама зазубрила. Дело нехитрое.

– Зубильце найдётся! – по всему видать, бабка, несмотря на все свои года, памяти не потеряла и твёрдо помнила, где что лежит в обширном хозяйстве, так что через минуту на свет появилось зубило с приваренной сбоку ручкой, клевец и вбитая в деревянную калабаху наковаленка, на какой косари отбивают косы. Фектя присела на бревенчатый порог и позабытый железный звон разнёсся над домами. Через пять минут гладкий – хоть задом садись – серп был зазубрен и отбит. В опытных руках такой серп сам жнёт, а в неловких – мигом пальцы отхватит.

Фектя оглянулась, ища, на чём показать своё умение, потом шагнула к зарослям крапивы, кучившимся позади двора.

– Ожгёшься, – предупредила бабка Зина.

– Ничо... Мать стегала, я жива бывала. Авось и сейчас не помру.

С серпом обращаться – навык нужен. Старики говорят: пока не порежешься, жать не научишься. Руку пальцами вниз не держи, а то без пальцев останешься. Помалу стебли загребать – работы не будет, помногу – стерня длинная останется, сноп получится куцый. А если грязи во ржи много, то надо ещё между делом сорную траву выбирать. Так что, если поглядеть, крапиву жать проще, хоть она и жжётся.

Не обращая внимания на ожоги, Фектя быстро выжала колчик позади двора, первым пучком, поперёк которого кидала сжатое, обвила крапивный сноп и протянула бабке Зине.

– Так, бабушка?

– Умница, умеешь, – похвалила старуха. – Хорошо вас румыны учили.

– Это не румыны, это мама учила.

– Значит, матка у тебя хорошая. Жива матка-то?

– Нет. Давно померла, я ещё вот такохонькая была. А теперь и на могилку не сходить.

– Так и бывает, мамы нет, а наука мамина живёт. Вот и меня учили... мне молодой погулять охота, а мама работать велит. Десять таких снопов – это скирда. Сто скирд сожнёшь и можешь гулять идти. Какое там – гулять! Спину ломит, рученьки ломит, ноги не идут. Отцы небесные! В стерню повалишься, покатаешься по колючему: «Нивка, нивка, отдай мою силку!» – тем и спасёшься. Вот как работали! А толку? Осенью пришли да и раскулачили нас, всё подчистую отняли.

– За что? – тихо ужаснулась Фектя. Слыхала она что-то о раскулачивании, но никак не могла понять, хорошо это или плохо? Вспомнить мироеда Потапова, так его бы потрясти рука сама тянется. Потом вспомнишь Шапошниковых – так им и поделом в нищете жить. А когда человек на разрыв жилы трудится – зачем же его зорить?

– За что, за что?.. – ворчливо переспросила бабка Зина. – Бьют не за что, а почему и чем. Палкой бьют да по голове. Глаза у людей завидушие и руки токо до чужого добра жадные, а к работе ленивые. На земле работать им неохота, а жрать – каждый день. А тут им свободу дали. Организуйте ячейку и грабьте всех, на кого глаз ляжет. Так они и рады. Отец у нас после этого умер. Его в тот же день разбило, а на неделе – помер. На другой год мама нас так работать не заставляла, всё равно, говорит, придут и отымут. Так и получилось, пришли нас осенью раскулачивать, а у нас нет ничего! Председатель комбеда, Шапошников был, на маму наганом махал: «Совести, – кричит, – у тебя нету! Что мы зимой есть будем?» А мама ему: «Хоть бы вы все передохли!» Как же, передохнут они... Это добрых людей господь прибирает, а такие и чёрту не нужны. Мама вскорости после этого тоже померла, а я в город ушла, в Боровичи, на фабрику. Сюда уж после войны вернулась, думала, в деревне сына прокормить легче будет. Да и Шапошникова к тому времени уже заарестовали.

– Это какой же Шапошников? – тихо спросила Фектя. – Федос, что ли?

– Нет, не Федос, – твёрдо ответила Зина. – Артёмом его звали, это я точно помню. Он, как напьётся, вытащит свой наган и всем встречным грозит: «Теперича наша власть, народная!» – а мужики кланяются: «Благодарим за науку, Артём Андреич!» Так что не Федосом его звали, это точно.

Феокиста задумалась. Выходит, этот самый Артём – Федосу Шапошникову родной внук, раз он Андреевич. Федосов сын Андрейка был годом старше Никиты и частенько его поколачивал. Знала бы, что из его семени такой разбойник вырастет, вихры бы пообрывала стервецу!

«А сами-то вы из каких? – хотела спросить Фектя, – Виноградовых-то в Княжеве прежде не было», – но осеклась, не оттого даже, что вспомнила наказ Горислава Борисовича, а просто сама догадалась, из каких будет бабка Зина. Звать-то старуху Зинаида Саввишна, и не иначе, отец её, умерший при раскулачивании, тот самый Саввушка Потапов – внучонок княжевского мироеда, после рождения которого старик Потапов потребовал злосчастного передела земли. Вот ведь когда отлились кошке мышкены слёзки – и как страшно отлились! Да и Шапошниковым тоже сласти не слишком много досталось, раз заарестовали в конце концов Федосова внука. Нечего было с оружием баловать.

– Шапошников-то за пушку свою под закон попал? – спросила Фектя.

– Скажешь тоже! Наганом махать и на народ орать ему воля была дадена. Но ему мало показалось крестьянского добра, так он деньги казённые прогулял. Думал, покроет из людских заработков, да прогадал, в колхозе палочки ввели. Вот недостача и вскрылась...

– Какие палочки? – переспросила Фектя. – Батоги, что ли? Пороть за недоимку?

– Ну, ты простота! Ничего-то вы, молодые, не помните. Тетрадка у председателя была, и в ней он палочками отмечал, кто сколько дней в колхозе отработал. Осенью хлеб по норме сдадут, а что останется – колхозникам на выдачу. Когда по десять, а когда и по двадцать граммов жита за трудодень. А за излишки льна завод деньгами рассчитывался. Денег этих никто не видел, на них для общества покупки делались: кумач на флаги и всякое такое. А Шапошников эти денежки прогулял. Думал, осенью с нового урожая покроет, а тут как раз нормы повысили, и вместо выдачи на трудодень остались одни палочки в председательской тетрадке. Меня там не было, а бабы рассказывали, как Артём на них кричал, хотел с колхозников недостаю стрясти. А откуда взять, когда нет ничего? Тут уже и нагана не боишься. Следовательно приезжал, сказал, что председатель виноват. Вот и забрали Артёмку. Потом из города нового председателя прислали, непьющего. Но палочки за трудодень так и остались до тех самых пор, пока колхоз совхозом не переименовали. Но это уже при Маленкове, он к крестьянству добрый был.

– Лучше бы уж пороли, чем так-то душу вынимать... – вставила Фектя.

– Хе, жаланная, и дурак знает, что воскресенье праздник. Это сейчас вам воли дано, а прежде, чтобы среди дня гулять, не бывало. Даже деревню от пожара ночью обходили. А ты мне вот что скажи: на прежнем месте вы деревню обходили?

– Обходили, бабушка. А мужики от сибирской язвы деревню опахивали. Дорогу-то поперёк перепашешь, язва и не придёт. И попа катали...

– Это как?

– На Егория Запрягальника попа приглашали в поле молебен служить. Попа из города звали, он добреный был, мясистый, от такого толку больше, пашня тучнее. Вот, как он отслужит, мужики его на землю валят и начинают по пашне катать. Он уж знает, что будет, и ризы надевает поплоче. Но как встанет, то всё равно гневается: бесовщина, мол, и к сану непочтение! Тогда от него яйцами откупаются. Полное лукошко накладывают, он и смиляется.

– Вот ведь как... – произнесла бабка Зина. – Что ни город, то нор. Мне отец про такое рассказывал, а сама не видала. – Старуха вдруг усмехнулась и добавила с хитрецей: – В колхозе секретарь ячейки был, Саврасов, жирнющий, что свинья на откорме. Его бы по пашне покатали, толку много было бы... – опомнившись, придавила смешок и сказала: – А ты иди, что со мной сидеть, у тебя дел, поди, много.

– Праздник сегодня. Работать нельзя.

– Всё-то у вас праздники... А за серп – спасибо. Деревню-то всю обошли?

– Всю.

– Вот и добро. Пожара, значит, не будет.

* * *

Пожар приключился в тот же день ближе к вечеру. Загорелись колхозные сараи, стоявшие на пригорке. Когда-то у князя там был торговый яблонный сад, к которому от усадьбы вела дорога. После того как усадьбу сожгли, на её фундаменте выстроили коровники. А сад вырубил, потому как был он заложен, не спросив Мичурина. Когда-то радатель северного плодоводства профессор Рытов дурно отзывался о гениальных трудах Мичурина, и потому в годы торжества мичуринской биологии было велено те сады, что северней Тамбова, сводить. Сад-то вырубил, а дорога, обсаженная липами, осталась. Тогда на месте сада поставили сарай, чтобы сено возить удобнее было. Сена в тех сараях давненько не воживалось, и вентиляторы разобрали на металлолом, но всякой трухи оставалось предостаточно. Заполыхало, словно бензином плеснуто. И захочешь не увидеть, всё равно увидишь.

Люди сбежались, а как тушить? С речки, за пол-то километра, воды не натаスカешь, колонки возле сараев нет. Только и остаётся галдеть да руками размахивать. Пожарка из города приехала, когда уже само потухать начало.

Народ потолпился, пошумел да и начал разбредаться. А дома всех ждала скверная новость. Покуда люди толпились вокруг пожара, поджигатели прошлись по деревне, не пропустив ни одного дома. Где двери оказывались заперты, их вышибали ударом ноги, не заморачиваясь с хлипкими запорами. Не трогали ни посуды, ни носильных вещей, забирали только иконы да изредка кой-что из мелочей, попавших под алчный взгляд. Старые иконы в деревне водились у немногих, так что всерьёз пострадали только Савостины, тётка Анна да бабка Зина. А у Березиных ворюги упёрли ведёрный самовар. Так прямо горячим и унесли, Березины как раз чай пить собирались.

Все были уверены, шкodu учинили парни, глазевшие из машины на крестный ход. А потом на шум выползла из домишка перепуганная бабка Зина, и последние сомнения отпали. Дальше завалинки Зина давно уже не ходила, разве что соседки в баню позовут; не побежала и на пожар, навидалась за жизнь пожаров досыта, и потому оказалась дома, когда пришли грабители. Стучаться парни не стали, сразу вышибли дверь, а когда старуха вздумала кричать: «Караул!» – в глаза ей блеснул нож.

– Тихо, бабка! – прошипел один из парней. – Не станешь шуметь – жива будешь.

На глазах у онемевшей хозяйки они выдрали из киота иконы, споро оглядели горницу, потом со словами: «Тебе всё равно не нужно» – один из парней забрал с комода трофейную, из Германии привезённую фарфоровую пастушку и, завернув для сохранности в кружевную салфетку, тоже засунул в сумку. Уходя, предупредил: «Сама, дура, виновата. Тебе цену предлагали. Нет, упёрлась! Ну и сиди теперь и без денег, и без икон».

Так последний раз на долгом веку бабка Зина была раскулачена.

Позвали милиционера, который составлял акт о поджоге колхозных сараев. Это если личное подворье сгорело, уголовное дело заводят, только когда пострадавший заявление написал, общественную собственность так просто поджигать не дозволяется.

Милиционер пришёл, выслушал свидетелей. Больше прочих горланили и добивались правосудия те, у кого не украли ничего. Анна, сильнее всех пострадавшая, выла в голос, оплакивая семейные реликвии. Из всего благословения осталась у неё лишь Неопалимая Купина, с которой она прибежала на пожар. Платон угрюмо молчал, Фектя глядела затравленно и зажимала ладонями рот, боясь закричать. Бабка Зина вовсе ополоумела и твердила лишь: «Какое признать?.. Мазурики они, вернутся и дорежут».

Милиционеру очень не хотелось вешать на своё отделение заведомый глухарь, но переубедить прорву народа он не мог, так что пришлось составлять акты, опрашивать свидетелей и пострадавших и делать прочую ненужную работу. Уехал затемно, предупредив, что искать будут, но найдут едва ли.

Под вечер приехал Горислав Борисович. Увидав сломанную дверь, прибежал к соседям, спрашивать, что стряслось. У самого Горислава Борисовича ни икон, ни самовара, ни старинного граммофона с трубой отродясь не было, так что и не пропало ничего. Только противно было, что пришлый мерзавец шарил по его дому. А у Савостиных кроме икон пропали ещё и деньги. Не то чтобы много, больших денег ещё заработать не успели, но зато все. Платон откладывал, чтобы детей во второй класс снарядить. Деньги, завёрнутые в тряпицу, лежали позадь икон. А где ещё честному человеку хранить деньги, как не у бога за спиной? Так вор и бога унёс, и деньги спёр.

Шурка рыдала по скраденным святым, словно по любимому котёнку. Брат Митрошка помер – Шурка не плакала, не понимала ещё по малолетству. А когда, уже на новом месте, ей подарили рыженького котёночка, а он через неделю издох, тут слезам конца не было. Теперь она так же убивалась по образам, перед которыми привыкла молиться перед сном.

Никита, в подражание отцу, хмурился и порой бормотал что-то неразборчиво.

Хуже всех переживала случившееся Фектя. Она словно заостенела в тягостном недоумении, что-то говорила и двигалась как не своя, а потом вдруг побледнела, ухватившись за живот, проковыляла мимо недавно купленной широкой кровати в красный угол, со стоном повалилась на лавку, под пустой, разбитой божницей.

Первым опомнился Платон.

– Микита! – крикнул он. – Живой ногой дуй к Храбровым, скажи тётке Нине, что мамка рожает. А ты, Шурёна, за тёткой Анной беги, а потом тоже к Храбровым. Да там и оставайся, пока не позовут. Нечего тут глазеть!

– «Скорую помощь» надо! – всполошился Горислав Борисович, зашедший к Платону обсудить приключившуюся беду.

– Какая помощь? Мы тут ничего сделать не можем. Рожает она, а то и просто выкидывает, рожать-то ещё рано...

По счастью, тётка Нина соображала в этих делах получше Платона, да и телефон, единственный на всю деревню, был установлен в храбровской избе, так что «Скорая» была вызвана немедленно и приехала действительно скоро. К какой-нибудь восьмидесятилетней старухе можно и не торопиться, помереть никогда не поздно, так что порой приезд неотложки бывает отложен денька на два. Роженица – иное дело, народная мудрость учит: «Срать да родить – нельзя погодить», – и врачи это очень хорошо понимают.

Фектю увезли. Врачиха ей даже до машины дойти не позволила: «Ты что, хочешь ребёнка на пол выронить?» – заставила Платона и Горислава Борисовича выносить роженицу на носилках.

«Скорая» уехала, и сразу стало пусто и неприкаянно. Анна с Ниной обсуждали, чем ещё можно помочь соседке. Прежде, если какая баба разродиться не может, посылали в церковь, просили раскрыть царские врата. Тогда и чрево раскрывается, ребёнок легче выходит. Церкви нет, но у Березиных есть освящённый на гробе господнем складень, на который не позарились грабители. Раскрыть бы его, но только не сделаешь ли хуже? Рожать-то Феоктисте рано, может, её на сохранение повезли... Решили складня покуда не раскрывать, а помолиться вслепую за исцеление скорбящих. С тем и разошлись.

Перед уходом тётка Нина сказала, что детей оставит ночевать у себя. Видно, сочла, что уж сегодня-то Платон точно напьётся. Мало ли, что непьющий, в такой день – положено.

Платон сидел, подперев голову двумя кулаками.

– Давай чай пить, – сказал Горислав Борисович. – Я варенье принесу, у меня есть из зелёной клюквы с грецкими орехами.

Не дождавшись ответа, сам поставил на плитку чайник, сходил за вареньем, да так в одиночку и пил чай, произнося перед молчащим Платоном успокаивающие речи.

Лишь под утро Платон оторвал кулаки ото лба и твёрдо произнёс:

– Найду воров – головы поотрываю.

Днём Горислав Борисович съездил в город и привёз хорошие вести: Фектя разродилась, ребёночек, хоть и сильно недоношенный, но живой, лежит в нарочной камере с кислородом, и врачи обещают младенца выходить.

Платон, который не мог бросить хозяйства, повеселел.

Дома Феоктиста появилась только через месяц: бледная, похудевшая, но с Миколкой на руках. Деревенские улыбались молодой маме, боясь сглазить, сдержанно хвалили: «Подходящий мальчуган».

Миколка был маленький, писклявый, болезненный, одно слово – недоносок. Врачиха обещала, что к году он выправится и догонит остальных детей. Так оно и случилось потом. А вот Фектя не выправилась. В ней словно бледная немочь поселилась, Фектя стала печальна, скучала по прежнему дому и частенько повторяла, что ничего доброго в заоблачной жизни их

не ждёт. Вспоминала Митрошеньку, мечтала сходить к нему на могилку, но на ефимковском кладбище больше не появлялась. Нет там ничего и не было никогда.

Глава 3

В деревне Горислав Борисович жил только летом – месяц отпуска да ещё два-три месяца за свой счёт. Фабрика, на которой он имел несчастье инженерствовать, и не работала толком, и обанкротиться никак не могла. Хуже всего, что за последнее время дела стали выправляться, работы прибавилось и отпуск за свой счёт начали давать со скрипом. Можно было бы вовсе уволиться, перейдя в разряд временно не работающих, и спокойно дожидаться пенсии, благо что стаж у Горислава Борисовича давно перевалил за тридцать лет, однако именно спокойствия и не получалось. Зарплата у Горислава Борисовича была смешная, но совсем потерять её он очень боялся. До пенсии ещё три года, и их надо как-то прожить.

Вот и торчал в Питере, тоскуя о деревенском доме, который стоит запертый и холодный. Скучал и по младшим Савостиным: по карапузу Миколке, по Шурёнке и Никите. Выучившись грамоте, старшенький букву «м» в имени потерял, на Микитку не отзывался, ворчал: «Себя под микитки бери, а я – Никита».

Шурка с Никитой заканчивали уже пятый класс, и Горислав Борисович обещал взять их на весенние каникулы в Петербург, сводить в Эрмитаж. Заранее представлялось, как будет ахать и всплёскивать руками Шурёнка, проходя по царским палатам. Вечером будут чай пить и книги читать. Шурка уж большая, но любит, чтобы ей вслух читали; слушает, замерев. А Никита сам себе книгочей, уходит в другой угол и, заложив уши ладонями, читает что-нибудь своё. Серьёзный парень растёт, самостоятельный.

Горислав Борисович заранее сообщил, когда приедет, просил протопить выставший дом, а приехал к полному раздраю.

Пропал Никита, школьный автобус привёз в Ефимки одну Шуру. Тут же выяснилось, что и в Подборье вернулась только Лена Завадова. Петьки Завадова, её двоюродного братца, в автобусе тоже не оказалось. Вместо уроков в этот день было объявление четвертных оценок и общее собрание, а школьная развозка отправлялась как обычно, так что детям выпало три часа неконтролируемого времени. Решили, что мальчишки забаловались, опоздали на автобус и теперь будут топать по домам пешедралом: Завадов – девять километров, а Никита – все двенадцать.

Когда стемнело, а Никиты всё не было, заволновались всерьёз. Принялись звонить на центральную усадьбу, в Блиново. В сельсовете уже никого не было, депутатшу нашли дома. Та побежала выяснять, и Петеньку Завадова сыскала очень быстро. Участковый встретил парня пьяным и, опасаясь, что тот замёрзнет по дороге домой, запер его на ночь в своём кабинете. Петю добудились, но он твердил только, что сам не пил, а Никиту не видал, потому что тот ушёл домой.

Фектя взвыла. Платон запряг Соколика и на ночь глядя погнал в Блиново. Горислав Борисович с фонарём в руках сидел в санях, высвечивал обочины, стараясь не пропустить уходящий вбок след или тёмное пятно лежащего в сугробе мальчишки.

До Блинова доехали, не найдя ничего. Вновь подняли Петю Завадова. Пятнадцатилетний семиклассник благоухал бормотухой и никак не мог врубиться, чего от него хотят.

Если взглянуть на исконного новгородца, какой красивый человеческий тип представит перед нами! Высокий, стройный, светловолосый... нос тонкий, прямой, глаза от зелёного через все оттенки голубого до серо-стального цвета. А тут качается полуживая пародия на славных предков. Фигура не стройная, а тощая. Волосы не льняные, а белёсые. Прыщи на низком лбу, скошенный подбородок, а под тонким носом – вечная мокреть.

Не добившись толка, втиснули Петю в пальтишко и усадили в сани. Блиново – село большое, но там пропавшего мальчишку будут искать местные жители, поднятые встрево-

женной депутатшей. Будь сейчас лето, можно было бы спокойно дожидаться утра, но конец марта, когда кругом ещё лежит снег... если Никита остался под открытым небом и, не дай бог, уснул, утром ему не проснуться. Оставалась ещё слабая надежда, что Никита пошёл домой пешком, но сбился с пути и ушёл в Подборье. Значит, нужно проверить и эту дорогу, а заодно доставить домой Петеньку, так славно отпраздновавшего окончание третьей четверти.

До Подборья доехали, не встретив ни единой души. Выгрузили Петеньку, сдали на руки матери. В семье Петя был поскрёбышем, один его брат служил в армии, а ещё двое, уже отслуживших, просто болтались без дела, выискивая, где бы сорвать на выпивку. Младшие Завадовы уродились в папу и, как положено добрым детям, уже превзошли его и по части безделья, и в плане выпивки. Неудивительно, что Петю дома никто не ждал. В первый раз, что ли?

Со старшим Завадовым Платон был хорошо знаком. Первый год Тимоха приходил к новосёлам как на службу, косноязычно учил Платона уму-разуму, потом просто сидел, глядя на чужую работу, ждал, что кончит Платон трудиться, начнёт с устатку выпивать, тут и Тимохе стакашек перепадёт. Опять же, если в соседнюю деревню к корчемнице за палёной водкой сбегать понадобится, то Тимоха всегда готов. Не дождался ни стакашка, ни поручения и в Ефимки ходить бросил, тем более что с Платоновым появлением всякая халтура в Ефимках перевелась. Уже и подборские в случае нужды старались Платона звать, так что Завадовым приходилось шакалить на стороне.

Вино всех перебарывает и всех равняет по себе. Было что-то схожее в семье Завадовых с княжевскими соседями – Шапошниковыми. И неважно, что Федос был рубаха-парень и гармонист, без которого ни одна свадьба, ни одни крестины не проходили, а Тимоха, напившись, принимался скандалить и драться. Главное – неизбывная, добровольная нищета, когда кормилец не кормит, а ищет, чего бы из дома уволочь на пропой. Завадовская жена и сама выпивала, недаром все четверо сыновей умишком не задались, так что их и в армию брали с неохотой, но всё же последнего ума не пропивала. Сына она встретила привычными, никого не трогающими причитаниями:

– Явился, идол! Чего стал? Спасибо скажи добрым людям, что тебя, паршивца, не бросили, домой привезли. Весь в отца, такой же пьяница будет! Самого от пола не видать, а туда же – винище хлестать!..

От пола дылду Петеньку видать было очень, но отреагировал он привычно:

– Я не пил...

– Ага, не пил, только в глотку лил! Добро бы сам нажрался, а мальчонку-то за что напоил?

– Никиту? – испуганно спросил Горислав Борисович.

– Я не пил... – пьяно гудел Петя.

– Я всё знаю, как ты не пил! Они с Сахой Саврасовым вашего Никиту силком поили. Вы уж не ругайте мальчика, что он выпимши, это всё они! Саха его держал, а мой балбес ему прямо из бутылки винище в рот лил. Где мальчонке от двух таких оглоедов оборониться... Видишь, я всё знаю!

– Ленку, ябеду, убью, – сказал Петя неожиданно трезвым голосом.

Платон шагнул вперёд, сгрёб Петю за грудки.

– Это я тебя убью, вот этими самыми руками!

Он повернулся к онемевшей Завадовой и произнёс:

– Пропал Никитка, нигде найти не могут. Последняя надежда оставалась, что заблудился и к вам вышел. Но коли он пьяный, так не знаю, что и будет. Ему вина совсем нельзя, он с одной капли погинуть может.

– Ой!.. – взвыла Завадова мама. Она подскочила к своему чаду, двумя руками вцепилась в сальные волосы, принялась таскать из стороны в сторону: – Ты что наделал, убивец, да я ж тебя сейчас сама порешу за такое!

– А чего он, самый умный, да?.. – слабо отбивался Петя. – Мы плохие, а он хороший? Нет уж, пусть тоже пьёт, как все. Пусть и его ругают...

– Тебя за такое в тюрьму упрятать! Ты же человека убил!

– Я не убивал, он сам пил!

– Тебе хоть стыдно? – спросил Горислав Борисович, сам понимая бессмысленность своего вопроса.

– Какое стыдно, – отвечала за сына Завадова. – Он и слова такого не знает! Стыд не ёлка, глазам не колко. Бить его надо, а не стыдить!

Горислав Борисович и Платон молча вышли из завадовского дома, сели в сани.

– И куда теперь? – спросил Платон, разбирая вожжи.

– В Ефимки, за Фектей.

– Чем она поможет? Будет голосить без толку.

– Она – мать. Если она не найдёт, то никто не найдёт.

– Но! – крикнул Платон так, что уставший Соколик с места взял рысью.

Увидав пустые сани, Фектя и впрямь ударилась в крик, но поняв, что от неё требуется, собралась в одно мгновение и поспешила за Гориславом Борисовичем в морозную мартовскую ночь.

Днём было солнце, на припёке снег вытаивал, над проталинками толклись невесомые мартовские комарики, с крыш накапывали гребёнки сосулек, всё в природе звенело о наступающей весне. Но к вечеру лужи подёрнулись коркой льда, воздух морозно засинел, и вернулась зима. Только снег не хрустел под ногами, как в январе, а сухо шуршал, напоминая, что скоро ему рушиться. Случается зимами и туман, сухой, пронзительно холодный, где каждая частица воды выморожена, превратилась в ледяную иглу, невидимую глазу, но болезненно ощутимую открытой кожей. Беда, у кого нет вязаных варежек и шапки-ушанки. И не вздумай форсить, загибая уши на затылок или к темени, – щёки отморозишь мигом. Умный, попав в ледяной туман, тесёмки завязывает под подбородком и спешит, прикрывая нос рукавицей, а то и чистым платком, если найдётся такой в кармане.

Ледяной туман сгустился вокруг идущих, в нём беспомощно тонул луч мощного аккумуляторного фонаря, туман скрадывал пространство, растворял время, не оставляя места ничему, кроме ледяной стылости, сквозь которую упорно ломились двое путников. Платон тоже хотел идти с ними или ехать на санях, но Горислав Борисович не пустил: «Ты только мешаться станешь, без тебя, да пешком, она скорее дойдёт, её сердце вести будет. А то ведь я тоже не знаю, куда Никиту занесло, где его искать».

– Что же это творится!.. – Фектя едва не плакала, – в экую морозень мальчонка на улице один! Да ещё опоенный! Ой, лишенько, ведь сгинет, и косточек не найдём!

– Не смей так говорить! – одёрнул Горислав Борисович. – Мы что, косточки ищем? За мёртвым в такую стынь и ходить незачем. Ты живого ищи, а не каркай.

– Так ведь бегу, – отозвалась Феоктиста и послушно переключила причитания: – Святые угодники, помогите найти сыночка, живого, не мёртвого. Боженька милостивая, подсажи, где Никиту искать?..

С издавних времён на севере Руси, в Тверских, Псковских и Новгородских землях, где народ ни за что не хотел принимать чуждую греческую веру, где под наносным христианством до сих пор тлеет языческое двоеверие, люди, разыскивая пропавшего, просят помощи у неведомой забытой богини: «Боженька, милая, помоги сыскать!» Будучи спрошенными, с чего это господь женщиной заделался, смущаются, толкуют о своей темноте, но молят всё равно женщину, берегиню, охранительницу. И та – помогает.

Вроде и часа не шли, а настало утро, небо зарозовело, растворяя искры звёзд, под ногами обозначилась твердь, а потом развиднелась и вся дорога с одинокой фигуркой, бредущей неведомо куда.

– Никитка!!!

Ух, как бежала Феоктиста, откуда прыть взялась! И Никита к ней, даром что взрослым себя считал, а носом ткнулся и разревелся хуже Миколки: «Мам, мам!..»

Феоктиста сына ощупала: так и есть – весь иззяб, и рукавички намокro: крепость с мальчишками лепил и снежками пулялся. Добыла из-за пазухи, из грудного тепла пуховую шаль, повязала сыну по самые глаза и по груди крест-накрест. Шаль-то огромная, понужнобиться – всего Никиту можно упеленать. Никита уже год как даже после бани не позволял себя так кутать, а тут терпит да к матери жмётся. Своя шапчонка поверх платка не лезет, так оттуда же, из-за пазухи, вытащила Платонов треух, самошивный, на заячьем меху. Рукавички отдала свои, нагретые. Потом валенки из-под шубейки достала, а из них – вязаные носки, присела на корточки, примостила сына на коленях, принялась переобувать. Из дома-то Никита в покупных сапожках вышел на скуственном меху, в каких только ноги морозить.

Горислав Борисович на подхвате был: одно подержать, другое – подать поскорее, пока не выстыло. А он-то гадал, чего это Фектя такой клушей выглядит. Теперь клушей выглядит Никита... зато живой, улыбается дрожащими губами, пытается что-то объяснять: «Я иду, иду, а деревни всё нет, и места не признать...»

Признали и место. Поднялись на пригорок и в заснеженной дали различили прежнее Ефимково. Усадьба на холме, из-за бугра выглядывает каменная церковь, а вдоль реки – избы без счёта. Тёмные, дымные, тесные; ни одна тёсом не обшита, крашенных и в заводе нет, но много их, лепятся друг к дружке, оставляя местечко лишь для ближнего огородичка. Над крышами дымы – у кого печь с трубой, а большинство по-черному топят. Посмотреть бы, как люди живут, поговорить, вспомнить былое, на кладбище наведаться, навестить маму да Митрошку: могилки, поди, снегом занесло, и дорожки не протоптано.

Феоктиста тряхнула головой, отгоняя искушение. Ещё обратно идти по морозу, а Никита уставши – добредёт ли?

– Домой-то как?

– Да уж пора, – подтвердил Горислав Борисович. – Пошли потихоньку. Да Никиту за руку держи, а то потеряется в тумане, опять искать будем.

До Ефимок дошли часа за три, не иначе в разные стороны дорога разной длины намеряна. Но вышли не утром, а в самой глубокой ночи, когда звёздный ковш опрокидывается, выливая на землю тьму. Что пришли – поняли сразу: вся деревня тёмная, домов не разглядеть, лишь в одном горит электрический свет: Платон, оставленный на хозяйстве, меряет шагами горницу, в пятый раз протапливает то плиту, то печурку-мазанку, стоящую в углу. В доме жарынь, Шурка спит раскидавшись, Миколка хнычет сквозь сон, чувствует, что мамы дома нет.

А мама уже туточки, и Никиту за руку ведёт.

* * *

Несколько дней прошло, пока Фектя решилась обратиться к Гориславу Борисовичу с заветной просьбишкой: а нельзя ли хоть на часок сходить в прежнее Ефимково, краем глаза поглядеть на оставленную жизнь, одним ушком послушать церковный звон, одну слезинку уронить на родные могилы.

– Можно-то можно, – в сомнении отвечал Горислав Борисович, – но не сейчас. По распутице, поди, и не проберёмся, хаживал, знаю. Обождать надо, пока путь установится.

Ждать Фектя была готова. Главное – дожждаться.

Из ночного похода Никита вернулся здоровёхонек, только спал на печи до полудня, а вот Горислава Борисовича ледяной туман просквозил. Оно и понятно: человек немолодой, а досталось ему солоненько – сначала из Питера ехал, потом в Блиново гонял и в Подборье, а там, без передыха, да в ночной туман. Ни в какой Эрмитаж, конечно, детей не повезли, всю неделю Горислав Борисович пролежал в постели с книжкой в руках. Фектя дважды на дню топила в соседской избе печь, отпаивала спасителя горячим топлёным молоком с толстой коричневой пенкой.

Горислав Борисович поправился и уехал, Фектя осталась ждать обещанной поездки из Ефимок в Ефимково.

Пришло тёплое время, а с ним и пахота, и на огороде возня. Сегодня гряды ровняла да морковку сеяла, а завтра уже полоть нужно: лебеда и пикула поперёд овоща попёрли. Каждое дело вроде и не мешкотно, а время отнимает. Лук солёной водой полить, чтобы перо не желтело, зимний чеснок навозной жижей подкормить... Июньскую редьку вовремя золой не обсыплешь да не обрызгаешь вонючим настоем загнившей травы – так блоха мигом всё поест. То же и с капустой от вредной гусеницы. А ведь зимой как хорошо – в серые щи из капустного крошева редечки потереть! Платон любит, и дети едят, да и сама не прочь.

Вертись, хозяйка, поспевай!

А сенокос? Это уже страда, тут не до гостей, на покос вся семья выходит. Никита и Шурка с граблями: ворошат да сгребают кошеное, а Платон и Феоктиста – с косами. Фектя косит широко, по-мужски, стараясь от мужа не отставать. Первый год Платон в одиночку косил; Фектя ходила с граблями, потому как второй косы в хозяйстве не было. Теперь косы две, а граблей так и вовсе пять штук. Сломаешь ненароком зубья – времени на починку не трать, бери новые, а эти зимой можно будет поправить: вырезать на досуге новые зубья из вязкой жимолостной древесины.

Николка в сене кувыркается, ловит лягушку. Визжит – не понять, кто кого сильнее боится. Хорошо!

В совхозе косят специальной косилкой, похожей на двуручную пилу. Косу цепляют к трактору, но, говорят, можно и к лошади. Платон смотрел, сказал, толк будет: надо косилку покупать.

Сенокос не отбыли, а огороду уже вторая прополка нужна, серьёзней первой. Тут уже спину ломит, пальцы от земли скрючивает. Вечером рученьки в горячей воде попаришь, маслом постным смажешь – сразу полегчает и можно идти доить коров.

А так – картошку объезжать себе и соседям, овёс косить... В лес за черникой тоже охота. Так что летом по гостям не разъездишься.

Всерьёз заговорили о поездке осенью. Горислав Борисович обещался после Покрова приехать на неделю и свозить всю семью в Ефимково. В Княжеве решено было не появляться; как ни верти, а временнообязанный крестьянин самовольно из деревни уезжать не должен.

Задолго до отъезда всё было готово. Нина Сергеева обещала эту неделю беречь скотину. Оно и трудно, но Нина ещё крепка – всего-то шестьдесят два годочка. Дом Гориславу Борисовичу был изгода протоплен, так что приехал он в тепло. Погода установилась хорошая, без распутицы, самый раз в гости ехать.

Выехали с утречка и сразу попали в знакомый туман.

Между минувшим и сегодняшним всегда туман стоит, оттого и видать минувшее плохо. Даже очевидцу, жившему в былые времена, туман застилает очи, путает память, морочит голову, превращая свидетеля в обманщика. «Врёт как очевидец» – сказано точно.

По одну сторону тумана Ефимки, по другую – Ефимково, а что посередке – не поймёшь: остывший овсяный кисель. Сегодня он не жёг лицо морозом, а только холодил, заставляя детей и взрослых ёжиться в нервном ознобе.

На телегу Платон навалил сена, не сказать, чтобы сильно много, но преизрядный воз. Взрослым оставлено было место внизу, дети расселись на сене. Вернуться домой гостевальщики собирались в воскресенье, но на всякий случай Шурку с Никитой отпросили в школе ещё на два дня. Учителя отпустили, отчего не разрешить, если дети учатся на одни пятёрки...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.